

«Доктор Живаго»

Новые факты и находки

в Нобелевском Архиве

Иван Толстой

«Доктор Живаго»:

Новые факты и находки
в Нобелевском Архиве

Прага
Human Rights Publishers
2010 г.

Дизайн обложки:
Misha Bobchinetski

Иван Толстой

«Доктор Живаго»:
Новые факты и находки в Нобелевском архиве —
Прага: Human Rights Publishers, 2010. — 88 с.

ISBN 978-80-9035-236-0

Книга продолжает тему, поднятую автором в «Отмытом романе Пастернака: „Доктор Живаго“ между КГБ и ЦРУ» (Москва: Время, 2009), — драматическую историю подготовки и выхода на Западе закатного произведения Б. Л. Пастернака. В январе 2009 г. в Стокгольме открылись документы, проливающие свет на историю выдвижений писателя на высшую литературную награду. В новую книгу Ивана Толстого включены впервые публикуемые материалы из Шведской Академии, различные интервью с экспертами и полемика с пастернаковедом.

© Иван Толстой, 2010
© Human Rights Publishers, 2010

После выхода «Отмытого романа Пастернака» прошло немногим больше года, а изложенная в нем история обросла уже дополнительными подробностями. Некоторые из них очень ценны для нашей темы.

Факты, ставшие доступными в последние месяцы, не просто подтверждают наши догадки, но укрепляют аргументацию в таких деликатных вопросах, как позиция Нобелевского комитета при обсуждении кандидатуры Пастернака или степень осведомленности ЦРУ о дискуссиях, ведшихся среди шведских академиков. То, о чем мы гадали и что вызывало саркастические насмешки некоторых рецензентов, получило теперь ясные ответы после открытия долгожданных материалов в стокгольмском архиве.

В то же время, отдельные факты приходится теперь переместить в категорию исторических легенд: например, никакими документами не подтвердилось участие Альбера Камю в выдвижении Пастернака на премию. В Стокгольме таких бумаг нет. Между тем, об активной роли лауреата 1957 года свидетельствуют многие. Как же расценивать его участие? Был ли он в этом деле промежуточным звеном, неформальным ходатаем, толкачом? Ясного ответа мы не знаем. Известно лишь, что Камю сочувствовал Пастернаку и высказывался в пользу присуждения ему награды, однако для Нобелевского комитета устные рекомендации

во внимание не принимаются, необходимо письменное формальное выдвижение, подаваемое в определенные уставом сроки: с 1 по 30 января каждого года. И один день в году, 31 января, своего кандидата могут выдвигать сами члены Шведской Академии.

Некоторые же легенды — наоборот — оказались непреложными фактами. На этих страницах мы впервые расскажем о них.

50-летие выхода «Доктора Живаго» отмечено было рядом публикаций, перекликающихся с нашим сюжетом. Если идти по порядку, это, прежде всего, большой блок материалов в декабрьском номере журнала «Знамя» (№ 12, 2008), Стэнфордский сборник под редакцией Лазаря Флейшмана (*The Life of Boris Pasternak's Doctor Zhivago*, Stanford, 2009, 37-й том в серии Stanford Slavic Studies), некоторые газетные обзоры и интервью, связанные с открывшимися в Швеции бумагами, и, наконец, монография Л. Флейшмана «Встреча русской эмиграции с „Доктором Живаго“: Борис Пастернак и холодная война».

Благодаря этим публикациям мы можем теперь уточнить, дополнить и развить некоторые сюжетные линии нашего повествования.

Ценность статей в «Знамени» в том, что, еще раз выстроив последовательность драматических событий, они наконец-то вводят в биографию писателя долгожданную и табуированную в пастернаковедении тему политики. Вернее, той политики, которой не хватало для полноты картины, потому что история кремлевских гонений, проработок и запретов, — то есть, всего, происходившего с поэтом в СССР, — уже хорошо изучена в последние годы. «Знамя» же предлагает обратиться к политике западной, сыгравшей в судьбе «Доктора Живаго» решающую роль.

Все три автора «Знамени» (Микаэль Сульман, Абрам Блох и Евгений Пастернак) рассказывают «нобелев-

ские истории» — каждый под своим углом, и каждый из авторов поясняет позицию Шведской Академии, которая перекладывала награждение Пастернака из года в год.

С пояснениями авторов часто трудно согласиться.

«Историк науки, доктор геолого-минералогических наук, автор книг и публикаций по нобелистике» (как он представлен «Знаменем») Абрам Блох, в частности, утверждает:

«Впервые эта фамилия (Пастернак — *Ив. Т.*) появилась в номинационном списке Нобелевского комитета по литературе в 1946 году, сразу после завершения Второй мировой войны. Его номинатором тогда стал профессор из Оксфорда Сесил Морис Баура (по мнению опрошенных нами британских профессоров, правильно: Боура — *Ив. Т.*) — известный в мире английский славист и общепринятый знаток русской поэзии Серебряного века <...>. В том году, — поясняет А. Блох, — кандидатура Пастернака не привлекла внимания членов Комитета».

Почему?

«В их архивах уже накопился контингент претендентов на нобелевскую награду, много лет представлявшихся авторитетными знатоками литературы первой половины нового столетия».

То есть, с точки зрения А. Блоха, Пастернак был уже тогда достойным претендентом, но перед ним за годы войны выстроилась очередь не менее достойных. Только поэтому его и отклонили.

Увы, никаких оснований утверждать это у Абрама Блоха нет. Сесил Морис Боура действительно выдвигал пастернаковскую кандидатуру и писал в Нобелевский комитет:

«Wadham College,
Oxford
9 января (1946)

Господа,

Ваше обращение с просьбой номинировать кандидата на Нобелевскую премию по литературе — большая честь для меня, и я хочу настоятельно выдвинуть в качестве претендента русского поэта Бориса Пастернака. Главные книги его — „Сестра моя жизнь“, „Темы и варьяции“ и „На ранних поездах“. Все это поэзия безупречного качества, без какой-либо дани нынешней моде или — что гораздо труднее в России — политическим требованиям. Пастернак сочетает строго классическую форму с яркой современной отделкой, так что его несравненная восприимчивость отливается в слова величайшей живости и великолепия. Это поэзия исключительного своеобразия по своей образности, почти пантеистическому взгляду на мир, по своей плотности и насыщенности и избеганию всего, что не относится к чистой поэзии. Пастернак из тех редких в наше время людей, кому удалось выработать современный тип сознания, не порывая с прошлым, не озлобляясь и не снижая уровня. Он смотрит на жизнь благородным творческим взором, где человеку отведено его место в природе, а природа не сводится к фону или декорации. Он показывает, как силы природы воздействуют на

человека и преобразуют его. Даже когда он касается политических вопросов, он сохраняет свою лирическую чистоту и перерабатывает политические чувства во что-то личное, трогательное, яркое и образное. По политическим причинам русские не относят его к числу величайших поэтов, но я не сомневаюсь, что лет через пятьдесят или сто станет очевидно, что в нынешнюю эпоху он был их ведущим поэтом. Он продолжает с новой восприимчивостью пушкинское классическое искусство, делая каждое слово полновесным и действенным. Я уверен, что он заслуживает Нобелевской премии.

Искренне ваш
С. М. Боура».

Лондонская исследовательница Памела Дэвидсон, впервые опубликовавшая это письмо по-английски (*The Life of Boris Pasternak's Doctor Zhivago*, p. 47–48), подчеркивает, что Нобелевский комитет сам обратился к оксфордскому профессору и что у Татьяны Марченко (автора книги «Русские писатели и Нобелевская премия». Кёльн—Веймар—Вена, 2007) нет никаких оснований утверждать, что Пастернака номинировали его родные сестры, жившие в Оксфорде. Скорее всего, полагает Дэвидсон, Боура (который был знаком с пастернаковскими сестрами) окончательно сделал свой выбор после бесед с Исайей Берлином, незадолго перед тем вернувшимся из поездки в Москву.

Памела Дэвидсон объясняет также причину отклонения пастернаковской кандидатуры в 1946-м: шведские академики желали получить независимое экспертное заключение о творческой глубине и оригинальности Пастернака, но исследование это, заказанное

шведскому филологу Антону Карлгрену, запаздывало, и боуровскую номинацию пришлось отклонить.

Так что дело было вовсе не в переполненности портфеля предложений, как предполагает Абрам Блох, не в толкучке богов на Олимпе.

Разбирая боуровскую номинацию, Памела Дэвидсон отмечает, что слово с корнем «политика» не случайно встречается в его письме целых четыре раза. Фигура претендента из Советского Союза — насквозь политизированной страны, где нельзя быть свободным от воздействия государственной идеологии, нельзя прожить, не испачкавшись, — почти не имела шансов попасть в список номинантов. Какой гуманизм мог исповедовать большевистский писатель? Каким идеализмом могли быть наполнены его книги?

Чтобы правильно понимать позицию Нобелевского комитета тех лет, надо не забывать о его непреклонном антисоветизме как нравственной позиции, о неприятии свинцовых мерзостей коммунистического режима. Запад в России часто воспринимается одним целым, между тем, ни о каком политическом монолите даже в годы холодной войны речи идти не могло: ярко коммунистическая Италия, очень левая Франция, изолировавшая саму себя франкистская Испания, последовательно-антисоветская Северная Европа. Обиды, нанесенные шведам советской стороной в послевоенные годы (исчезновение в ГУЛаге Рауля Валленберга или так называемую «шведскую травму» — предательскую выдачу Стокгольмом Москве, вопреки общественному мнению, сотен прибалтов), скандинавы забывать не хотели.

Борис Пастернак для Академии был, прежде всего, автором из ужасного СССР, и в задачу Мориса Боура входило доказательство общеевропейской ценности его

поэзии, высоких нравственных достоинств, сохранных поэтом в сложнейших условиях.

По правилам Нобелевского комитета не прошедшая в один год кандидатура автоматически передвигается на следующий. Абрам Блох и на этот раз не указывает истинной причины неинтереса к Пастернаку, обходясь туманным замечанием: «Осталось нереализованным и повторное представление Бауры в следующем, 1947 году».

Обращение к стокгольмскому архиву рассеивает на этот счет недоумения: отзыв Карлгрена был все еще не готов, он поспеет лишь к июню 1947-го (а должен был бы, по правилам, к 30 января), и шведские академики, верные букве своего устава, бесстрастно покорились обстоятельствам.

Карлгреновское заключение, между тем, было не в пользу Пастернака: хотя ученый и основывал свои суждения о его творчестве на переводах, опубликованных Морисом Боура, выводы были сдержанными, а местами оценки говорили о неприемлемости кандидата.

Отзыв, напечатанный по-шведски на 49 машинописных страницах большого формата (фолио), мы представляем здесь в пересказе изучившего его Бенгта Янгфельдта. Пастернак охарактеризован здесь как

«поэт скорее для поэтов, чем для народа». Сославшись на утверждение в книге Святополка-Мирского *Contemporary Russian Literature*, что нет еще языка, на котором можно адекватно судить о Пастернаке, Карлгрен признает поэтическое творчество Пастернака заведомо неподдающимся полному пониманию. Хоть поэтическое видение Пастернака и полно «свежести и оригинальности», его метафоры порой «безвкусны», а рифмы «подчас сомнительны», результатом чего получается нечто,

не являющееся «ни понятным, ни красивым». Что касается пастернаковской прозы, то высокую оценку получает *Детство Люверс*: «Этот прозаический фрагмент, отличающийся глубиной психологического проникновения и оригинальностью, является достаточно необычным в русской литературе — он наводит мысль на великих современников. Как, например, Пруст <...>». Об *Апеллесовой черте*, наоборот, говорится, что «для любого нормально одаренного человека невозможно понять, что же П. хотел ею сказать». То же относится к *Письмам из Тулы*. Довольно низкую оценку получает и *Охранная грамота*. Переводы Шекспира Карлгрен обвиняет в «упрощении», считая, что лучше бы Пастернаку ими и не заниматься. В заключение Карлгрен выражает надежду, что то, что он «сумел извлечь из творчества Пастернака после многомесячного мучительного изучения, дает достаточный материал для оценки его творчества». Вместе с тем, он «честно признает», что для такой оценки «требуется квалификация, которой он не обладает» (Бенгт Янгфельдт. Борис Пастернак и Нобелевская премия 1958 года // *The Life of Boris Pasternak's Doctor Zhivago*, p. 99–100).

В результате знакомства с анализом Карлгрена, Нобелевский комитет пришел к следующему заключению:

«Пастернак — лирический художник, пользующийся изысканными поэтическими средствами, с трудом приспособившийся к требованиям Советской республики воспевать государство и социалистический реализм. Комитет придерживает-

ся мнения, что творчество Пастернака не достигло, однако, масштаба, который оправдал бы награду. Поэтому сочтена оправданной выжидательная позиция» (Б. Янгфельдт, там же, с 100).

Вердикт Карлгрена означал, тем самым, и поражение для Боура как ходатая. Все приходилось начинать сначала. Так что совершенно лишена содержания риторическая конструкция Абрама Блоха:

«В следующем, 1948 году очередного предложения от оксфордского поклонника творчества Пастернака в Нобелевском комитете так и не дождались. <...> О причинах пропуска 1948 года остается только гадать. Напрашивается и вполне банальное предположение: запоздало поступление номинации по почте в Стокгольм <...>».

Не нужно гадать: Боура пропустил год из-за отрицательного отзыва Антона Карлгрена. Поэтому в январе 1948 года, в положенный срок, кандидатуру Пастернака выдвинул другой номинатор — историк литературы Мартин Ламм. Будучи сам членом Шведской Академии, он обладал правом вносить в список своих кандидатов, чем и воспользовался в специально отведенный для этого день — 31 января. Здесь Абрам Блох точен.

Премии осенью того года Пастернак не получил все по той же причине: Нобелевский комитет и на сей раз «не смог убедиться в том, что вклад русского лирика имеет масштаб и значение, которые оправдали бы награду».

В январе 1949-го Сесил Морис Боура, после годового «карантина», вновь попытал счастья. Откликаясь на запрос кого-то из членов Нобелевского комитета, он писал 24 января 1949 года:

«Дорогой сэръ,

Очень благодарен Вам за Ваше письмо. Позвольте со всей возможной настойчивостью обратить Ваше внимание на кандидатуру русского поэта Бориса Пастернака. На мой взгляд, он крупнейший из поэтов, живущих в Европе. Его воображение тоньше, а сила значительнее, чем у Элиота. Он одновременно и модернист, и наследник великой традиции. Я хотел бы особо отметить, что в самых разных ситуациях и под воздействием всех видов политического давления он в безупречном виде сохранял свое искусство и много претерпел от этого. Я знаю, что у Нобелевского комитета есть предубеждения против присуждения премий русским, но в данном случае сомнений быть не может, поскольку Пастернак великий европейский писатель. С точки зрения силы, музыкальности и художественности ему нет равных, и я хотел бы обратить Ваше особое внимание на его кандидатуру.

Искренне Ваш С. М. Боура».

Старания и на этот раз не привели к успеху. К прежним кондродам академики добавили еще и «щекотливость положения», в котором находился Пастернак, и «вполне обоснованные опасения насчет последствий награждения писателя». Подразумевались, прежде всего, гонения на космополитов, шедшие в Советском Союзе полным ходом, и оголтелое антизападничество в наихудший период холодной войны.

В 1950-м член комитета Мартин Ламм снова выступил в поддержку московского поэта, и снова безрезультатно. И хотя Академия отметила «растущий интерес к Пастернаку в английском литературном мире», но сослалась на скудость сведений о творчестве кандидата после 1930-х годов. Появлявшиеся на Западе переводы действительно не давали представления о новых трудах поэта. Не случайно и сам Борис Леонидович тревожился тем же самым обстоятельством и во всех разговорах настаивал на важности своей послевоенной деятельности, не желая оставаться в глазах читателей поэтом только былых времен.

Мартин Ламм в том самом 1950-м скончался, а Сесил Морис Боура больше не выдвигал Пастернака на премию.

Но стоит ли уделять столько внимания ранним, «холостым» номинациям Пастернака? Безусловно стоит. Их безрезультатность и становится лучшим объяснением и ответом тем, кто упорно считает, что Нобелевская премия Борису Леонидовичу была присуждена за поэзию или за поэзию в той же степени, что и за «Доктора Живаго».

Отрицательный отзыв эксперта о Пастернаке-лирике и отказные мотивировки Шведской Академии потому и не цитируются российскими поклонниками поэта, что они камня на камне не оставляют от фальшивого мифа о досадном невезении достойного кандидата. Нет, никакие бумаги не запаздывали, никто не обходил Пастернака по очкам или другим критериям, просто пятерым членам Нобелевского комитета не казалась убедительной именно эта фигура. Поэтический, а не какой-то иной масштаб представлялся академикам недостаточным. Нелепо подменять их понимание фигуры Пастернака нашим сегодняшним. Шведы не читали по-русски, никогда не имели дела с советскими кандидатами, были чрез-

вычайно насторожены ко всему, приходившему из новой России, очень чутко отнеслись к возможным проблемам, грозившим Пастернаку-лауреату в закатные сталинские годы. Им бы наше знание!

А по существу, за Бориса Леонидовича хлопотал один-единственный англичанин сэра Боура. Да еще Мартин Ламм на основании боуровского мнения. Для нужного масштаба маловато.

Многое изменилось за следующие семь лет. Нет, не сам Пастернак: его перемены происходили втайне от мира, о них еще никто не подозревал. Прежде всего, появился поток переводов на европейские языки: к сборнику прозы (Лондон, 1945) и поэзии (Лондон, 1946), которыми в свое время пользовался Антон Карлгрен, и переводам сэра Боура (1943 и 1948) добавились американский том избранных трудов (1949) и сборник стихов во французских переводах (1946). Но для номинатора 1957 года, а им стал знаменитый шведский писатель Харри Мартинсон, важнее были переводы на шведский. Бенгт Янгфельдт насчитал шестнадцать таких стихотворений и отрывков, а также «Детство Люверс».

Вероятно, именно эти переводы, а все же не стихи из романа, как предполагает Абрам Блох, напечатанные в «Знамени» 1954-го года (и остававшиеся непереуведенными), подвигли Мартинсона на выдвижение кандидатуры Пастернака.

Фигура Харри Мартинсона для Академии была необычайно важной: это был крупнейший шведский писатель XX века, лично знакомый с Пастернаком и слушавший его выступление на Первом Съезде советских писателей в 1934 году. Вернувшись из поездки, Мартинсон писал — критически — об СССР, особенно после советского нападения на Финляндию, и — восторженно — о

самом Пастернаке. К такому номинатору нельзя было отнестись формально.

Представление Мартинсон сделал устно — в «академический» день — 31 января 1957 года. Что сказал он в своем выступлении? Может быть, повторил что-то из своих довоенных мыслей? Бенгт Янгфельдт отмечает, что решение Мартинсона

«было продиктовано не одной лишь литературной оценкой прочитанных им в переводе произведений поэта, но и личной памятью о поэте, выступившем, как и он сам, в защиту «права видеть Чудо, такое большое, так часто и так долго, что это его заставило медлить и сомневаться в поворотах, диктуемых суетной цивилизацией, с ее вечно самообожествляющим тоном и командующим свистком» (Янгфельдт, с. 107).

В шорт-лист премии 1957 года, помимо Пастернака, попали также французы Альбер Камю, Андре Мальро и датская писательница Карен Бликсен. Постоянный секретарь Андерс Эстерлинг писал тогда же в своем отчете, что ни Карен Бликсен, ни Борис Пастернак пока «не имеют перспектив обсуждаться на переднем плане» (Янгфельдт, с. 101).

И это, подчеркнем, уже 1957 год. Поэзия претендента шведов все еще не убеждает. А ведь на следующий год этому же синклиту придется Пастернака премировать.

Оценка пастернаковской кандидатуры, данная при этом Эстерлингом, очень показательна:

«Что касается Бориса Пастернака, то он сделал, несомненно, оригинальный вклад, оплодотворивший русское лирическое творчество. В частности,

он выработал современный метафорический язык, поставивший его в один ряд с экспериментаторами-новаторами Западной Европы и Америки. Даже если Пастернак в целом слегка менее труден для восприятия, чем Хименес (лауреат 1956 года — *Ив. Т.*), он все же не принадлежит к поэтам, которые могут рассчитывать на народный отклик, и избрание его сразу после Хименеса, наверное, было бы воспринято мировой общественностью как слишком односторонний подход. Было бы также, разумеется, желательно, чтобы кандидатуру выдвинули на родине писателя» (цитируем по статье Янгфельдта, с. 101).

Здесь интересен кивок на отсутствие народности (привет Карлгрену и советским проработчикам!) и, особенно, последняя фраза — о выдвижении на родине.

Тем самым, Нобелевский комитет (на закрытом и засекреченном на 50 лет заседании) признает свою зависимость от мнения страны, где живет кандидат. Нельзя этому не поразиться, учитывая противоположные слова историка литературных наград и члена Нобелевского комитета Челля Эспмарка. (Ниже мы перейдем к интервью с ним). Но зависимость эта не жесткая, Эстерлинг говорит лишь о «желательности», так что невозможно согласиться с выводом Евгения Пастернака в «Знамени»: «Именно отсутствие этого пункта останавливало в его случае в прошлом окончательное решение Нобелевского комитета».

Мы знаем теперь, что дело было не в этом. Тем более, что на следующий год со стороны «родины писателя» последовала не поддержка, а бешеный нажим и попытка сорвать награду. И ведь ничто не помешало, присудили.

Что же случилось между октябрём 1957-го (окончательным перед наградой того года голосованием) и октябрём 1958-го? Каковы были основания у Академии для пересмотра литературного масштаба Пастернака? Произошло решающее событие — вышел роман «Доктор Живаго». И масштаб претендента стал безусловным. Победительным.

В своих заявках номинаторы не скрывали, что пастернаковский роман они расценивают как выигрышный козырь. Профессор отделения славянских языков Колумбийского университета (Нью-Йорк) Эрнест Симмонс, назвав Пастернака «советским Томасом Элиотом», выразил уверенность:

«Когда по-настоящему объективная история русской советской литературы будет написана, я не сомневаюсь, что Пастернак займет в ней свое место среди величайших поэтов, рожденных Россией, место рядом с Пушкиным, Лермонтовым и Тютчевым <...>.

Оригинальность и сложность пастернаковских стихов наряду с его личной отстраненностью от политических и идеологических вопросов, естественно, препятствовали его популярности в Советском Союзе. Не раз он становился жертвой официальной критики, что бесспорно сыграло свою роль в его недавнем уходе в переводы. Не улучшилось его положение и после известия о выходе по-итальянски его большого романа „Доктор Живаго“, запрещенного к изданию в Советском Союзе. Публикации этого романа обещаны в Англии, Франции и Америке. Я предсказываю, что это станет ярким событием и послужит росту литературной репутации Пастернака и на Западе, и

у него на родине. Несмотря на официальное отношение к нему в Советском Союзе, надо учесть, что все понимающие русские писатели осознают величие пастернаковской фигуры.

Вот почему, но особенно из-за его принадлежности к числу двух-трех величайших нынешних поэтов, я хочу номинировать на Нобелевскую премию Бориса Леонидовича Пастернака».

На следующий день, 15 января, гарвардский профессор по кафедре английской и сравнительной литературы Гарри Левин направил свое письмо в Стокгольм. Он указывал, что отнесся к заданию номинировать достойного кандидата со всей ответственностью и обсудил этот вопрос с учеными коллегами и литераторами.

«Мне объяснили, что в этом году имя Бориса Пастернака было выдвинуто другими частными лицами и группами, вероятно, ближе стоящими к пониманию культурной ситуации в стране и способными оценить изящество его поэтического языка. Тем не менее, я хочу присоединиться к этому выдвижению, полагая, что поддержка из этой страны (Америки — *Ив. Т.*) может быть расценена как свидетельство а *fortiori* (с тем большим основанием — *Ив. Т.*).

В мире, где великой поэзии становится все меньше, Пастернак представляется мне без сомнения одним из полудюжины первоклассных поэтов нашего времени. Кроме того, он автор выдающейся прозы. Я знаком с некоторыми его критическими работами и воспоминаниями, хотя и не успел еще прочесть его большой роман, только что вышедший по-итальянски. Необходимо отметить также, что Пас-

тернак сослужил выдающуюся службу русской, английской и мировой литературе великолепным переводом ряда шекспировских вещей. Может быть, самый выдающийся факт его пути — то, что под тяжелым давлением, вынуждающим писателей превращать свои труды в идеологическую пропаганду, он твердо оставался верным тем эстетическим ценностям, столь богато явленным в его трудах. Всем этим он дал пример художественной цельности, вполне заслуживающей вашего особого признания».

Профессор славистики и компаративистики того же Гарвардского университета Ренато Поджоли в своей номинации отметил, что книги Пастернака свидетельствуют о лирическом голосе не менее сильном, чем у Йейтса, Валери и Рильке. И что он безусловно крупнейший после Блока русский поэт. А «Детство Люверс» и «Охранная грамота» выдают в нем мастера прозы европейского уровня.

«В последние годы, — писал Поджоли, — Пастернак написал обширный роман „Доктор Живаго“, доступный пока что только по-итальянски. Этот роман, построенный вослед „Войне и миру“ Толстого, бесспорно величайшая художественная вещь, когда-либо созданная в советской России, где ее скорее всего не напечатают».

Отметим, что в этом же письме, среди других достойных кандидатов (Игнацио Силоне, Альберто Моравиа, Сен-Жон Перса, Роберта Фроста) Поджоли отмечает и фигуру Владимира Набокова.

Кстати, о неискренности профессора Поджоли мы узнаем из письма Джорджа Гибиана, приводимого Лазарем Флейшманом. 23 октября 1958 года тот писал Глебу Струве:

«Я также видел Поджоли в Кембридже. Его взгляд на Живаго в разговоре весьма отрицателен, еще ниже его прохладной оценки в недавнем *Partisan Review*. Он крайне недоволен совпадениями и считает его (роман) дико старомодным и только потому примечательным, что он выглядит <...> „Войной и миром“ на фоне общей убогости советской прозы» (Л. Флейшман. Встреча русской эмиграции... с. 86).

Подобное лицемерие было свойственно не одному Поджоли. Защита и поддержка Пастернака в известной степени вообще держались на круговой поруке порядочности, на инстинкте поддержки гонимого. Не удивительно, что противники Пастернака с достаточным основанием говорили о политизированности всей атмосферы вокруг Нобелевского кандидата.

Политическим романом сделал «Доктора Живаго» не сам автор, но его сторонники и критики — по существу, в равной степени.

Два отзыва номинаторов Пастернака пришли (да и были написаны) позже положенного срока. У одного из них, Романа Якобсона, была уважительная причина:

«Позвольте дополнить мою телеграмму, отправленную вам (в Нобелевский комитет — *Ив. Т.*) тридцатого января по возвращении в Соединенные Штаты в ответ на ваше письмо от декабря 1957-го. На мой взгляд, Борис Пастернак — один из вели-

чайших русских поэтов последних двух столетий и один из самых выдающихся мировых поэтов со времен Первой мировой войны.

Его стихи демонстрируют редкую силу поэтического воображения; поразительное разнообразие новых и оригинальных приемов построения образов, ритма и рифмовки; сложный символизм, несущий глубокую философскую нагрузку. Стихи Пастернака в течение пятидесяти лет его творческой активности представляют монументальное единство неделимого целого и в то же время показывают непрерывный динамизм его поэтического развития, так что каждый этап его литературной биографии неповторимо своеобразен.

<...> Проза Пастернака, как я постарался показать в специальном исследовании (*Slavische Rundschau*, VII, 1935), тесно связана с его поэзией. Его несколько рассказов и автобиографических отрывков принадлежат к шедеврам лирической прозы в современной мировой литературе и в равной степени новы по своему языку, утонченным метонимическим образам и острой проблематике своего содержания. В своих последних вещах, в романе „Доктор Живаго“ и автобиографии, Пастернак сохраняет все индивидуальные черты своей ранней прозы и в то же время наследует великой традиции русского классического романа в его высших примерах. Произведения Пастернака резко и смело поднимают центральные проблемы нашей эпохи в их русском и международном обрамлении. В сегодняшней России Пастернак, вероятно, единственный выдающийся писатель, никогда не шедший ни в чем на компромисс с официальными взглядами, поведением и требованиями. В 1937—38

годах, в пору тяжелейшего давления, он бесстрашно отвечал своим официозным оппонентам на советском литературном собрании: «Не орите, а если уж вы орете, то не все на один голос, орите на разные голоса».

Я глубоко убежден, что выдвигая Бориса Пастернака на Нобелевскую премию, я выражаю чувства бесчисленных читателей и критиков современного литературного мира».

Телеграмма Якобсона во внимание принята не была, поскольку не соответствовала по форме требуемому выдвижению, а письмо сильно запоздало. Но в нем интересно отметить почти готовую будущую формулировку Нобелевского комитета: «...наследует великой традиции русского классического романа».

А якобсоновские слова о «непрерывном динамизме» пастернаковского поэтического развития попадут в итоговый доклад Андерса Эстерлинга перед членами Академии.

Еще позднее пришло послание от другого русского профессора — преподавателя Оксфордского университета Дмитрия Оболенского. Он обосновал свою поддержку только 27 февраля, но и здесь словно подсказана премиальная формула, а, кроме того, Оболенский, соседствовавший с пастернаковскими сестрами, показывает хорошее знание содержания «Доктора Живаго»:

«Мои основания для этой номинации следующие:

В последние двадцать пять лет Пастернак всеми признан крупнейшим русским поэтом <...>. Вне России поэтические труды Пастернака также широчайшим образом считаются значительной вехой в истории европейской поэзии. В частности, в

Британии, например, его значение как величайшего современного поэта было подчеркнуто такими выдающимися знатоками европейской литературы, как Д. С. Мирский <...>, сэр Морис Боура <...> и профессор Ренн <...>.

Пастернак, кроме того, заслужил также репутацию одного из наиболее успешных переводчиков нашего времени <...>.

С 1945 года было известно о работе Пастернака над романом; он закончил его в 1952—53 годах: это труд на 800 страницах, озаглавленный „Доктор Живаго“. Известно, что автор рассматривает эту книгу как важнейшую среди своих трудов и относится к ней, со свойственной ему скромностью, как к оправданию (как если бы он в нем нуждался) своего литературного пути. До сих пор не было возможности напечатать это произведение в Советском Союзе; тем не менее, по желанию Пастернака, „Доктор Живаго“ был издан в ноябре 1957 года в итальянском переводе у Фельтринелли в Милане. Появилось уже пять изданий итальянской версии, в этом году ожидаются английский, французский и немецкий переводы романа. Всемирный интерес, поднятый „Доктором Живаго“, обязан, на мой взгляд, качествам самой прозы (следующей великим традициям русского романа девятнадцатого века), глубокой искренности и правдивости, с которой описана жизнь в России в решающие и драматические годы — 1900—1929 (эпилог книги посвящен периоду второй мировой войны), а также человеческим и духовным ценностям, красноречивое и трогательное свидетельство которых несет этот роман. Последний раздел книги содержит двадцать пять стихотворений <...>: некоторые из

них свидетельствуют о христианстве автора и должны быть, мне кажется, причислены к вершинным творениям религиозной поэзии».

Существовало и еще одно выдвижение Пастернака — со стороны Глеба Петровича Струве, — тоже написанное (30 января) и отосланное позже отведенных сроков. Факсимиле его приводится в книге Л. Флейшмана («Встреча русской эмиграции...», с. 12).

Тем не менее, залп подобных характеристик, включая своевременные и запоздавшие, не мог не подействовать на Нобелевский комитет. Конечно, здесь много и сильно сказано о стихах Пастернака, о безусловности и признанности его поэтического дара, но все номинаторы отмечают и «Доктора Живаго», подавляющим большинством, при этом, еще не читанного. Ситуация, как видим, в точности, хотя и с обратным знаком, предугадывала скорый советский погром: романа номинаторы не читали, но на премию выдвинули.

Теперь становится понятным, почему же через 12 месяцев после отказа 1957 года Андерс Эстерлинг занял противоположную позицию и стал ратовать за присуждение награды: за этот год изменились не взгляды Нобелевского комитета, а возможности самого Пастернака — он стал автором толстого романа. За лирические стихи Пастернак не проходил, теперь же поэзия проскользнула в фарватере «Доктора Живаго».

И опять повторим: это не мы сегодня судим творческие заслуги писателя, это шведские академики полвека назад так расценивали убедительность Пастернака-художника. Нам для понимания достаточно одного с Борисом Леонидовичем языка. Шведам же для вердикта нужны были переводы. Подменять стокгольмский глазомер нашим — некорректно.

Но если так, если масштаб Пастернака к 1958 году начал соответствовать нобелевским критериям достойного кандидата, то стоило ли ЦРУ заботиться о русском издании «Живаго»? Не было ли это грандиозным просчетом американской разведки? Может быть, в октябре Академия проголосовала бы за Пастернака и без всяких тайных операций?

Встает принципиальный вопрос: существовало ли у Нобелевского комитета требование о выходе произведения на языке оригинала или нет?

Напомню, что в 2007 году я получил от постоянного секретаря Нобелевского комитета Хораса Энгдаля отрицательный ответ. Нет, писал он, вопрос о языке произведения Шведской Академией ставиться не мог. И историк литературных наград Академии Челль Эспмарк подтверждал, что «никогда не слышал о подобном требовании».

И вот в январе 2009 года, по прошествии необходимых по уставу 50 лет, в Стокгольме открылись бумаги 1958 года. Я получил любезное приглашение ознакомиться с ними. В читальном зале на улице Каллергранд, дом 4 меня уже ждали документы из пастернаковской папки: 49-страничный отзыв Антона Карлгрена, списки писателей, номинированных в те годы, когда выдвигался и Борис Пастернак (между прочим, в 1958-м — сам Морис Боура: вот и объяснение тому, что Пастернака он не номинировал в поздние годы; кстати, с какого года стали выдвигать самого Боура? — я не успел этим поинтересоваться). Часть принесенных документов была в ксерокопиях, часть — оригиналы.

И вот — машинописные страницы с выступлением Андерса Эстерлинга перед Шведской Академией, помеченные 1 сентября 1958 года. Это последняя речь постоянного секретаря перед финальным ежегодным голосованием. Эстерлинг подводит итоги многомесячных размышлений

академиков о заслугах и шансах претендентов того года — Сальваторе Квазимодо, Джузеппе Унгаретти, Альберто Моравиа, Карен Бликсен и, что нам интереснее всего, — Бориса Пастернака. Челль Эспмарк помогает мне перевести речь со шведского.

Мы останавливаемся на решающей фразе:

«Я, таким образом, горячо рекомендую эту кандидатуру и считаю, что если она получит большинство голосов, то Академия в этом случае примет свое решение с чистой совестью, не взирая на то временное затруднение, что роман Пастернака пока еще не смог выйти в СССР» (Протокол заседания Шведской Академии, 1 сентября 1958 г., с. 10).

Магнитофон включен. Я прошу Челля Эспмарка прокомментировать эти слова.

«Нет такого параграфа в правилах Нобелевского комитета, — говорит Эспмарк, — где говорилось бы о необходимости издания на родном языке писателя. Мне подобное условие никогда не попадалось. Таким образом, он (Андерс Эстерлинг — *Ив. Т.*), извиняясь перед Академическим собранием, что русского издания еще нет, выражает уверенность, что это «временное затруднение» и что книга рано или поздно появится».

Но не странно ли, — спрашиваю я, — что постоянный секретарь извиняется за то, что и так не предусмотрено уставом? Какой же смысл в извинениях?

«Да, это мудрёно, — кивает Челль Эспмарк, — он здесь подчеркивает, что это «временное затрудне-

ние» и что оно не встретит со стороны Академии противодействия».

Согласитесь, — предлагаю я, — что слово «затруднение» пахнет?

«Дипломатично сказано, — отвечает Эспмарк, — очень дипломатично. Видите ли, в те годы сама постановка вопроса о языке произведения показалась бы странной. Представлялось естественным, что всякий писатель печатает книги на своем родном. Не было никаких прецедентов в этом отношении, поэтому никому не пришло бы в голову вносить такое требование в устав Нобелевского комитета. Это показалось бы абсурдом. Роман Пастернака должен был существовать по-русски просто по определению. Вот почему вопрос о языке даже не ставился».

Как видим, вопрос хоть и «не ставился», но был поставлен. Андерс Эстерлинг предлагал преодолеть не оговоренное препятствие, пожать несуществующую руку.

И теперь становится понятной активность ЦРУ в этой истории. До американских агентов еще в начале 1958 года доходит (через Альбера Камю, Бриса Парена, через других близких к Шведской Академии лиц), что отсутствие русского издания может создать некоторое «затруднение», и они энергично берутся эту помеху убрать с пути. В этом и заключен смысл тайной операции — предъявить Стокгольму русское издание с фелтринеллиевским именем на титуле, то есть, обеспечить правовую цельность этой деликатной истории.

Как оказалось, позаботиться о праве возможно было только неправовым образом.

Первые дни января 2009-го добавили в нобелевскую интригу новые подробности. Мадридская газета «АВС» опубликовала громкую статью о том, кто же был «своим человеком» ЦРУ в Нобелевском комитете. По мнению испанских журналистов, это не рядовой информатор, а человек, известный всему миру, — генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд.

Никаких доказательств или документов «АВС» на своих страницах не предъявила, это всего лишь предположение. Тем не менее, на мой взгляд, испанское сообщение заслуживает внимания, поскольку предположения в пользу Дага Хаммаршельда весьма серьезные.

Знаменитый швед происходил из богатой семьи. Образование, жизненный опыт, унаследованные традиции и моральные принципы сформировали его человеком высоких нравственных помыслов. Поступок с большой буквы был свойствен ему как политику и дипломату.

Скандал с пастернаковским романом заставил в то время многих людей в мире взглянуть на положение писателя и творческого человека в Советском Союзе и сделать свой этический выбор. Мне кажется, что Даг Хаммаршельд должен был продвигать кандидатуру Пастернака — потому что иначе он поступить не мог. И я верю, что он склонял своих коллег присоединиться к нему и поддержать автора «Доктора Живаго». Для свободолюбивого человека в его положении другого выбора не оставалось. Книга Пастернака стала знаком личной свободы и художественной чести. Хорош ли роман сам по себе — этот вопрос уже не имел значения. Это был шаг, и этот шаг Нобелевскому комитету предстояло оценить.

Как можно относиться к возможной связи Дага Хаммаршельда с американской разведкой? Что это могла быть за связь? Пока что понятно одно: генеральный

секретарь ООН был фигурой огромной влияния, обладавшей несомненной харизмой. Его общение на самом высоком политическом и государственном уровне со всеми международными действующими лицами той эпохи позволяло ему свободно обмениваться информацией и выстраивать сложные многоходовые конструкции в такой игре как «холодная война».

Мы уже рассказывали, как государственный секретарь США Джон Фостер Даллес во время одной из пресс-конференций осенью 1958 года заявил, что Нобелевский комитет присудил Пастернаку премию исключительно за «Доктора Живаго». А поскольку изданием романа на русском языке на Западе занималось ЦРУ (которым руководил его родной брат Аллен Даллес), то госсекретарь знал, что говорил. Так что появление в печати имени Дага Хаммаршельда не удивительно: он был из этой же влиятельной компании. Только, разумеется, стоял он выше разведки. Он был из тех, кого разведки обслуживают.

Объявление имени Хаммершельда в печати наполняет содержанием один эпизод, который я не отважился привести в «Отмытом романе», поскольку не хотел быть голословным. Теперь я могу сказать об этом открыто. Сотрудник голландской службы безопасности (BVD) Йооп ван дер Вилден, ответственный за тайный выпуск пастернаковского романа, обсуждал это задание с агентом ЦРУ, привезшим верстку «Доктора Живаго». И американец заверил ван дер Вилдена, что все уже решено, что ЦРУ знает, кому присудят Нобелевскую премию: это будет Пастернак, потому что у ЦРУ в Нобелевском комитете есть «свой человек».

Внесем одну лишь поправку: не в Комитете, а в Академии. Что, кстати, важнее.

Если это действительно Даг Хаммаршельд, скажем: браво! Это еще один благородный поступок высокоморального шведа.

В том же 12 номере «Знамени» опубликована большая статья Евгения Борисовича Пастернака, полная воспоминаний и деталей об околонобелевских днях. Автор подходит к политическим аспектам избирательно: уважительно говорит о том, что ложится в его концепцию, и презрительно — о «неудобных» для него фактах, которые он и фактами-то не считает.

Такая приватизация пастернаковской биографии, предпочтение домашней истории (личной, но неизбежно ограниченной) в ущерб открывшимся историко-литературным обстоятельствам приводит сына-биографа к закономерным ошибкам.

Не берясь полемизировать со всеми неверными утверждениями Евгения Борисовича, я не могу не откликнуться на те его высказывания, где речь идет обо мне:

«Теперь, через полвека после этих событий, сотрудник радио „Свобода“ Иван Дмитриевич Толстой вытащил вновь наружу сомнительную политическую подоплеку присуждения Пастернаку Нобелевской премии, приписывая эту заслугу американской разведке (СІА). На эту тему было сделано им несколько докладов, публикаций и выступлений по радио, — и это несмотря на то, что на свой запрос в Шведскую академию он получил отрицательный ответ.

С разрешения господина Г. Энгдала, к которому обратился Толстой, мы получили копию этой переписки.

„Меня интересует один вопрос, — пишет И. Толстой. — Некоторые считают, что по условиям Нобелевского комитета «Доктор Живаго» Пастернака должен быть опубликован на оригинальном языке, то есть русском. Никакие переводы не могут быть принимаемы в расчет. Такого мнения придерживается Жаклин де Пруайяр. Это звучит странно, но не могу ли я просить Вас разъяснить мне этот факт. Было ли в действительности такое требование?“

В феврале 2008 года (правильно: 2007 — *Ив. Т.*) вопрос Толстого был поставлен на обсуждение очередной сессии Академии. Поддерживаемый другими членами, историк Нобелевской премии по литературе профессор К. Эспмарк выразил общее мнение:

„Предположение, что Шведская академия в 1958 году выразила нежелание дать Пастернаку премию, пока не будет напечатан оригинальный текст „Доктора Живаго“, было встречено общим недоверием. Господин Эспмарк утверждает, что он никогда не видел никакого документа, который бы содержал такое утверждение, и невозможно представить подобное условие присуждения премии, поскольку это бы нарушало правила секретности, окружающие процесс утверждения лауреата. Поскольку пока никаких доказательств не появилось на свет, заявление, будто публикация Живаго по-русски открыла дорогу для премии, должно быть вычеркнуто. По всей вероятности, Пастернак получил бы премию в любом случае. Возможно, что его западные друзья думали иначе. Американская разведка вряд ли знала что-либо об

обсуждениях Шведской академии. Не надо переоценивать ее влияние“»).

Не могу не отозваться на этот пассаж. Прежде всего, мое отчество не Дмитриевич, а Никитич, но это мелочь. Мелочью я готов посчитать и то, что Евгений Пастернак цитирует мое частное письмо к Хорасу Энгдалю. Секретарь Нобелевского комитета ни за что не мог бы позволить кому-либо приводить в печати чужие слова: показать — вероятно, да, но воспроизводить? Впрочем, когда историю приватизируешь, то тайна чужой (не архивной) переписки — пустяк.

Я и впрямь обращался в Нобелевский комитет за разъяснениями упорного слуха. И получил из Стокгольма ответ. Но... минуточку! Ведь пустил-то слух в российской печати сам Евгений Борисович. И в комментариях об этом писал, и в биографии отца: «Формальным препятствием (для присуждения премии — *Ив. Т.*) было то, что роман не был издан по-русски, на языке оригинала, а только в переводах» (Евгений Пастернак. «Борис Пастернак: Биография». Москва, 1997, с. 700).

Отказывается ли он теперь от своих слов? Изменил ли точку зрения? На каком основании? Почему за слова Евгения Борисовича должен отвечать Иван Лже-Дмитриевич, а не сам Евгений Борисович?

Еще одна цитата. Сын-биограф пишет в «Знамени»:

«Известная своими „разоблачениями“ газета *Der Spiegel* в дни травли Пастернака объясняла выбор Шведской Академии результатом международного заговора, участниками которого были Ватикан, американский комитет „Свободная Европа“ и русская эмиграция, подчеркивая при этом организационную роль самого Пастернака. Доказа-

тельство заговора газета видела в распространении в Ватиканском павильоне Всемирной выставки в Брюсселе русского издания „Доктора Живаго“, напечатанного по инициативе „таинственного незнакомца“, который появился в типографии Мутона с фотокопией русского текста. Сообщалось также о демонстрации писем Пастернака, оспаривающих у Фельтринелли права на русское издание, и подлинной рукописи „Доктора Живаго“ с авторской правкой. В этой статье Пастернак обвиняется в том, что он договорился с приехавшим в Переделкино „на правах друга семьи“ Владимиром Толстым, „племянником Л. Н. Толстого“, о выпуске авторизованного издания романа, чтобы подготовить почву для Нобелевской премии.

Откровенная лживость „сведений“ по поводу мнимого участия Пастернака в „организации“ русского издания романа, его писем к Фельтринелли о праве издания и встречи с фальшивым „племянником“ великого писателя Владимиром Толстым выясняется из...»

Оборвем цитату. В таком тоне пишут и такие обвинения выдвигают, когда все-таки есть чем опровергнуть журналистов «Шпигеля» (не газеты, кстати, а еженедельного журнала). Но, за исключением сведений о фальшивом племяннике, все остальное в «Шпигеле» абсолютно верно.

Евгению ли Борисовичу не знать, что участниками «международного заговора» действительно были «Ватикан, американский комитет „Свободная Европа“ и русская эмиграция»? И в мутоновской типографии действительно появился «таинственный незнакомец» с русским текстом: в «Отмытом романе» мы впервые называли его имя (Руди

ван дер Беек) и рассказали, откуда у него взялся этот русский текст: из Мюнхена, от Григория Данилова.

Что касается «писем Пастернака, оспаривающих у Фельтринелли права на русское издание», то (неловко даже напоминать) никто иной, как сам Евгений Борисович напечатал их в отцовском собрании сочинений. Это письма к Жаклин де Пруайяр, где Пастернак подробно объясняет, почему Фельтринелли не должен публиковать свою копию, а только пружайяровскую. Фельтринеллиевский экземпляр был, как мы помним, невычитанным, неготовым для печати.

И о «подлинной рукописи „Доктора Живаго“ с авторской правкой» все в «Шпигеле» правильно: это рукопись, переданная Пастернаком Жаклин. С нее сделали фотокопии, одна из которых отправилась в «Мутон» для набора. И когда возник скандал из-за пиратского издания, о существовании этой пружайяровской рукописи говорили вслух.

Предпоследнее обвинение — «организационная роль самого Пастернака». Ну, здесь пришлось бы повторить половину «Отмытого романа» и снова рассказать о тайных письмах Пастернака, о детальных инструкциях, о том, как вести себя, если будут спрашивать о происхождении рукописи, о попытках мирить и сближать малознакомых людей, о всей той мучительной и деликатной дирижерской роли, взятой Пастернаком на себя добровольно и сознательно, — то есть обо всем том, что теперь известно читателям и что знает Евгений Борисович и биографически, и профессионально.

Наконец, последнее — «фальшивый племянник» Владимир Толстой. Это единственный пункт, в котором Евгений Борисович отчасти прав: «племянник» не приезжал в Переделкино и ничего не обсуждал с Пастернаком. Однако кто такой этот Владимир Толстой,

узнать от пастернаковских биографов невозможно, и сам Евгений Борисович ничего по его поводу не сообщает.

Мы для «Отмытого романа» нашли «племянника», он ни от кого не скрывается и живет себе в Вашингтоне, выяснили его роль в живаговской истории, получили подтверждение его работы в комитете «Свободная Европа», в распространении романа в Ватиканском павильоне на Брюссельской выставке. Отныне Владимир Сергеевич Толстой-Милославский перестает быть фигурой виртуальной.

Не хочется морализировать, но все эти наши несложные открытия стали возможны только при одном условии: при недоверии к постулатам «официального» пастернаковедения, которые выдвинуты, прежде всего, сыном поэта, а поддержаны разнообразными сторонниками сусальной версии о Пастернаке-небожителе. Боязнь Евгения Борисовича обсуждать новые документы и свидетельства приводит его к обескураживающим заявлениям в ответ на нашу книгу: «Мой отец ничего о ЦРУ не знал».

Как будто кто-нибудь так ставил вопрос! Жаль, что в редакции «Знамени» никто не предостерег почтенного человека от попадания в неловкую ситуацию.

Новый угол зрения на издательскую историю книги принес 38-й том известной серии Stanford Slavic Studies — исследование Лазаря Флейшмана «Встреча русской эмиграции с „Доктором Живаго“: Борис Пастернак и холодная война» (Stanford, 2009, 499 с.).

Книга эта настолько значительна — не просто для пастернаковедения, но и для истории русской эмиграции 1950—1960-х годов, — что пройти мимо нее не должен ни один исследователь этих вопросов. И, разумеется, это важнейшее исследование по «нашей» теме.

Я взял в руки труд профессора Флейшмана со смешанным чувством. Прежде всего, с недоумением. Дело в том, что на протяжении нескольких лет я задавал Лазарю Соломоновичу некоторые ученические вопросы. Робость их была вызвана глубочайшим уважением, которое вызывал во мне этот ученый. Его книги о Борисе Пастернаке в 1920-е и 1930-е годы, многочисленные статьи в журналах и специальных изданиях, сборник «Русский Берлин», составленный им вместе с Ольгой Раевской-Хьюз и Робертом Хьюзом, исследования, связанные с русской Ригой, относятся к литературоведческой классике и входят в основу научного знания о русской литературе XX века. Прошу у читателя прощения за повторение этих общеизвестных истин.

И вот, понимая всю недостаточность знания своего предмета, я спрашивал у Лазаря Флейшмана совета: куда бы еще залезть, ища ответ на вопрос, кто и при каких обстоятельствах выпустил первое русское издание «Доктора Живаго»? В своей основе моя книга была уже готова, каркас ее мне был ясен, но, как всегда, хотелось дополнительных деталей, доказательств, свидетельств. У кого же спрашивать совета, как не у главного специалиста по Пастернаку?

В первый раз я задал свой вопрос в 2003 году. Лазарь Соломонович ответил мне, что эта тема его совершенно не интересует. Неужели? — удивился я. — Ведь все, кого ни спроси, не могут объяснить, как же ни с того, ни с сего русский текст пастернаковского романа вдруг появился на свет. Л. Флейшман только пожал плечами. Правда, на следующий день посоветовал мне заглянуть в письма Григория Лунца, хранящиеся в Гуверовском архиве. Это было ценное указание, и я благодарен Лазарю Соломоновичу за подсказку.

Второй раз я обратился к нему в 2004-м. Безразличие к теме у него оставалось прежним. И, наконец, в третий раз, опять же в Стэнфорде, в 2007 году я поделился с ученым своей радостью: находкой в бумагах Глеба Струве указания на авторство предисловия к французскому «засылочному» изданию «Живаго» 1959 года, — безымянным автором был Борис Филиппов, в чем он сам и сознавался.

— Знаете, Лазарь Соломонович, кто предисловие к желтенькому «Живаго» написал?

Глаза Л. Флейшмана как-то затуманились. Он слабо улыбнулся:

— Нет, — со странным равнодушием ответил он, — не знаю.

Мне показалось, что я неотчетливо выразился, и переспросил:

— Ну, Вы понимаете, о каком издании я говорю? Французское, 59-го года.

— Нет, — изобразив сонливость, повторил Л. Флейшман, — не помню. А кто?

— Борис Филиппов, — сказал я. — Он сам в этом сознается, в письмах Глебу Петровичу.

— А-а... — с жалостью к интересующим меня глупостямотреагировал он. И с усмешкой добавил: — Ну, Иван Никитич, вы всех опередили.

Тогда я не обратил внимания на это «опередили»: ни в каких соревнованиях я не участвовал.

И вот весной 2009 года неожиданно появилась флейшмановская книга.

Если бы прежде, практически на любом этапе подготовки, я узнал бы, что на ту же самую тему пишет кто-нибудь, а Лазарь Флейшман, то, видит Бог, я, не задумываясь, отложил бы свой замысел и стал бы ждать,

что расскажет нам мэтр. Но мэтр, по его утверждению, и не думал поворачивать голову в эту сторону.

Вот почему, увидав 500-страничное исследование (на которое ушло, по словам самого автора, 25 лет), я испытал смешанные чувства. Первое — недоумение от этической стороны такого поступка. Я понимаю, что ученый совершенно не обязан делиться с кем попало своими знаниями и планами. Но между тайной научных планов и ответами Л. Флейшмана лежит пропасть. Давать ей оценку я не намерен.

Однако произнесенное «опередили» объясняет, на мой взгляд, те особенности книги Лазаря Соломоновича и его публичный отклик на наше расследование, мимо которых пройти невозможно.

В книге 8 глав, развивающих повествование от первых известий о Пастернаке, достигших Запада после войны, — через эмигрантское удивление от поэта, неожиданно оказавшегося еще и автором большого романа, через возрастающее сочувствие к его поступку, через осознание важности и исторической весомости самого появления подобной рукописи в советской стране — к описанию широчайшего вовлечения эмиграции в оценку произведения.

«Встреча русской эмиграции...» основана на сотнях цитат из газет и журналов, вышедших на английском, французском, немецком (а в некоторых случаях и на других языках). Но главное здесь — конечно же, высказывания русских эмигрантов, рассеянные по периодике конца 1940-х — начала 1960-х годов и по неизданной частной переписке, хранящейся в западных архивах. Материал, привлеченный Л. Флейшманом, поистине огромен и исключительно интересен. Автор рисует масштабную вовлеченность всей пишущей эмиграции в культурное событие мирового масштаба: как бы ни относились

писавшие к литературным достоинствам или недостаткам пастернаковского произведения, значительность самого факта мало кем подвергалась сомнению.

Книга Лазаря Флейшмана принципиально шире нашей темы: в ее центре — осмысление эмигрантами и западными критиками феномена пастернаковского мира. Сам автор определяет тему своей книги так: «...роль эмигрантской общественности в событиях, окружавших издание «Доктора Живаго», и скандал вокруг него...».

Важнейшие слова здесь — «события, окружавшие». Собственно говоря, автор, судя по ряду признаков, вовсе не планировал писать о загадке появления русского текста, и слово «ЦРУ», вполне возможно, ни разу не появилось бы на его страницах. Но наш «Отмытый роман» «вынудил» Флейшмана обратиться к роли американской разведки. И Лазарь Соломонович в последний, кажется, момент решил поставить своего предшественника на место в нескольких кратких пассажах (правда, разнесенных по различным главам своей книги), дав «истинную» картину продвижения пастернаковского произведения на Запад.

Эта дополнительная для автора задача, возникающая, как можно предположить, уже после завершения Флейшманом основного корпуса его книги, привела *в этой части повествования* к провалу его концепции.

Попробуем иллюстрировать это некоторыми примерами.

В чем главное (и, как окажется, — единственное) существенное несогласие Лазаря Флейшмана с нашей книгой? В том, что исследователь считает роль ЦРУ пассивной, а эмиграции — активной. Мы тоже в целом так считаем — но применительно к большому послевоенному периоду: так было в подавляющем числе случаев участия американцев в выпуске тамиздата. Однако сюжет с «Доктором Живаго» стал для этих отношений исключением:

роли здесь распределились весьма причудливо и совершенно не так, как представляет это профессор Флейшман. Что у него получается?

«<...> По сравнению, — пишет он, — с тем резонансом, который приобрел роман, и с тем местом, которое он занял в интеллектуальных бурях того периода, вопрос об источниках финансирования набора русского издания или обстоятельств его устройства остается сравнительно мелким, периферийным эпизодом и не случайно почти не упоминается на страницах летописей „холодной войны“, отведенных ЦРУ. Главный вес в „деле Пастернака“, как оно разворачивалось на Западе, имело вовсе не ЦРУ, а те различные общественные силы, политическая позиция и действия которых продиктованы были их непримиримым отношением к условиям советской культурной и общественной жизни и сочувствием к большому поэту. Только с точки зрения тех звеньев советской государственной идеологически-репрессивной машины, которые вступали в конфронтацию с зарождавшимся в СССР диссидентством, вопрос о происхождении финансирования зарубежных изданий на русском языке вызывал беспокойство и получал оттенок „детективной“ сенсации» (с. 224—225).

Вопрос, поставленный Л. Флейшманом под таким углом, выходит за рамки пастернаковедения и относится к представлению о природе политических игр вообще, а потому всякий читатель может судить о глубине флейшмановского анализа. Источники финансирования взрывоопасной книги в решающий политический момент для него не имеют значения. Пусть. Но слова о том, что

этот «мелкий, периферийный эпизод» «не случайно почти не упоминается» в соответствующей литературе, представляют *contradictio in abjecto*: потому и не упоминается, что эпизод был засекреченным. А во-вторых, этот «периферийный» эпизод очень даже обсуждается во всех публикациях, где эта тема вообще освещена: в письмах агента ЦРУ Феликса Морроу (приведенных в статье Карла Проффера 1984 года) и в трех статьях голландки Петры Кувее. Больше о роли ЦРУ в живаговском деле не писал, если я не ошибаюсь, никто.

Так что вместо слов «не случайно почти не упоминается» профессору Флейшману, объявляющему свой труд научным, полагалось бы написать: до сих пор исследователи мало обращали на этот эпизод внимание.

Ни одна русская книга, оплаченная ЦРУ, никогда не была окружена тайной, тем более такой плотной, тем более от самих же русских. Тайный выпуск «Доктора Живаго» по-русски был именно спецоперацией, осуществляемой в спецусловиях. Ибо слишком высока была ставка — Нобелевская премия.

Понимание последовавших событий объясняют нам логику предыдущих поступков.

Главный пункт несогласия Л. Флейшмана с моей книгой изложен на страницах 214—215:

«Громкогласные „разоблачения“ причастности ЦРУ к выпуску русского „Доктора Живаго“ бессодержательны и „тавтологичны“, поскольку, во-первых, абсолютное большинство эмигрантских (и не только русских) книг, журналов, газет или радиопередач после войны в той или иной форме субсидировалось правительственными инстанциями США, а во-вторых потому, что эта финансовая

поддержка ни в малейшей степени не приводила к унификации мнений и нивелированию оценок вовлеченных в эту деятельность лиц. Скажем, Б. А. Филиппов, игравший центральную роль в организационно-финансовом обеспечении издательской деятельности в Зарубежье с начала 60-х годов и проявлявший редкую энергию и азарт в ней, вел яростную конкурентную борьбу с НТС и ЦОПЭ. Из давно известного факта причастности ЦРУ к русским зарубежным изданиям И. Н. Толстой, в стремлении сейчас придать *старому* материалу *свежую детективно-сенсационную огласку* (курсив мой — *Ив. Т.*), сделал в своей книге совершенно ненаучные выводы. Издание русского „Доктора Живаго“ он представляет себе так, как если бы „вездесущая“, коварная, „всесильная“ организация секретно мобилизовывала свою агентуру в разных странах мира, с целью любой ценой добиться выпуска подрывной книги. Такое восприятие разительно напоминает старые конструкции советской идеологической пропаганды и ставит реальные события с ног на голову. На деле не ЦРУ, раскинувшее свои сети по всему миру, давало команду своим безликим агентам-марионеткам на местах, а наоборот, видные представители эмигрантской интеллигенции, в естественном союзе с интеллектуальной элитой Запада, оказывали воздействие на вашингтонскую администрацию в стремлении обеспечить и ускорить появление „Доктора Живаго“. Не будь единодушия относительно необходимости срочного выпуска пастернаковского романа у В. Франка и Г. Андреева, Р. Гуля и М. Корякова, Н. Берберовой и Н. Тарасовой, которые исполняли различные служебные функции

на фронте „психологической войны“ в разных русских зарубежных организациях и органах печати, не располагай они разветвленными связями в соответствующих кругах и не имей того авторитета, которым они в этих сферах пользовались, издание русской книги, сопряженное с такими неимоверными трудностями, было бы просто невысказуемо. Именно совокупные усилия нескольких центров интеллектуальной, общественной и политической деятельности русской эмиграции — ЦОПЭ, НТС, радиостанция „Освобождение“ („Свободная Европа“), тесно связанный с нею мюнхенский Институт по изучению СССР и главные русские газеты Нью-Йорка и Парижа — смогли довести до сознания администрации значение обнародования пастернаковского произведения и смысл всего „дела Пастернака“. Другими словами, несколько упрощая общую картину, можно сказать, что не распоряжение ЦРУ дало толчок разворачиванию работы всех лиц, вовлеченных в „делo Пастернака“, а напротив, инициатива представителей эмигрантской интеллигенции способствовала предоставлению на всех этапах необходимой финансовой и организационной поддержки. Можно снова в этой связи сослаться на ранее цитированное письмо В. С. Франка к матери (ноябрь 1957), в котором он выражает желание выпустить роман в оригинале».

В приведенном пассаже целый ряд серьезных ошибок.

Прежде всего, необходимо отвести испытанный пропагандистский прием — упрек оппоненту в том, что тот «стремится» «придать старому материалу свежую детективно-сенсационную огласку». Вот уж кто-кто, но

только не я «стремлюсь» к этому: читатель может открыть страницы 9 и 10 нашей книги и прочесть: «Речь идет всего лишь о приключениях рукописи (...) Рассказанная в этой книге история никакая не сенсация...»

А за искаженный пересказ «Отмытого романа» досужими журналистами (отчасти книгу не читавшими, отчасти не вникшими в перипетии рассказанной истории) я отвечать не могу. Не я, а они, вопреки мною сказанному, пишут о сенсационности. Не иначе, профессор Флейшман читал не «Отмытый роман», а рецензии на него?

Далее. Первая флейшмановская фраза — о «тавтологичности» «разоблачения причастности ЦРУ». Мол, Иван Толстой не знает, что и так почти все издания финансировались американцами. Но давайте откроем «Отмытый роман» на странице 228 и прочтем: «После окончания второй мировой войны ни одна книга в русской эмиграции без тайных американских субсидий на свет не появилась бы».

В этой же фразе Флейшмана: «...эта финансовая поддержка ни в малейшей степени не приводила к унификации мнений...». А где я утверждаю обратное? Назовите страницы, Лазарь Соломонович!

При этом, «причастность ЦРУ к русским зарубежным изданиям» вовсе не «давно известный факт», как это утверждает Л. Флейшман. Разумеется, каждый, кто в эмиграции хоть немного занимался книгоизданием, понимает эти обстоятельства, но ни раньше (при идеологическом противостоянии с СССР), ни теперь говорить об этом вслух не принято. В «Отмытом романе» мы впервые в литературе предприняли попытку постановки этой темы. О финансировании американской разведкой русских эмигрантских книг нигде и ничего не было написано (даже в мемуарах ответственного за «книжную программу» Айзека Пэтча), а то немногое, что

все же на эту тему появлялось (например, двухтомник «Вокруг Солженицына» Александра Флегона), было написано в жанре памфлета, неотличимого от поклепа.

Да, с 1966 года западные газеты и журналы закричали о тайном американском финансировании западноевропейских интеллектуальных журналов — *Encounter*, *Preuves*, *Der Monat*; тогда же заговорили о многолетнем спонсировании разведкой Конгресса за Свободу Культуры; да, с 1971 года началось долгое разбирательство роли ЦРУ в содержании радиостанций Свободная Европа и Свобода; да, к этим разоблачениям со злорадным улюлюканьем присоединилась советская пропаганда, огульно обвиняя и русскую эмиграцию в существовании на подачки Лэнгли, — но кто же из нормальных людей в Советском Союзе воспринимал кремлевскую пропаганду всерьез? Еще раз: в десятках и сотнях западных статей о поддержке печатных изданий (исключения: Феликс Морроу и Петра Кувее) нет ни звука о русских текстах.

Таким образом, спор о «тавтологичности» факта финансирования решается просто: библиографией вопроса. Лазарь Флейшман подобной библиографии привести не может, так как ее нет в природе. Что же касается неопубликованных архивных писем или устных свидетельств, то личное знание об этом еще не делает вопрос общеизвестным. А потому обвинение меня в тавтологичности не имеет под собой оснований.

Далее — о «ненаучности» моих выводов: мол, смехотворно считать, что ЦРУ «секретно мобилизовывало свою агентуру в разных странах мира, с целью любой ценой добиться выпуска подрывной книги». На самом деле, утверждает Л. Флейшман, это эмигранты добились от ЦРУ денег и выпуска романа.

На сотнях страниц Лазарь Соломонович показывает, как хотелось русским эмигрантам увидеть издание на родном языке, как убедительно говорили они о необходимости такого издания. И что же? И где же оно, профессор Флейшман? А его нет и никогда не было. Сколько правильных слов было эмигрантами произнесено, а «Доктор Живаго» в эмигрантских издательствах так и не вышел — ни в «Посеве», ни в «ЦОПЭ», ни в приложении к какому-нибудь журналу или газете, ни в православной «УМСА», ни в католической «Жизни с Богом», ни в парижской «Рифме», ни у монархистов, ни у социал-демократов, ни в частном издательстве, ни в университетском.

Нигде! А почему же? Да сам Лазарь Флейшман и приводит ответ на этот вопрос, цитируя Наталью Логунову, писавшую в 1960 году в «Русской Мысли»:

«Выпустить книгу за рубежом — геройство. Нужны не только деньги, но и мужество. Издательств много, но ни одно из них не издает книг за свой счет, а у писателей, как правило, денег нет <...>

Мелкие вещи публикуются в газете, единицы — в немногочисленных журналах. Но последние, как известно, имеют свой замкнутый круг писателей и неохотно открывают двери новым. Кроме того, они не принимают больших вещей, так как выходят редко и не всегда аккуратно. Печатать роман или повесть отрывками в течение 2—3 лет никто не берется. Положение писателей, пишущих романы, поистине трагическое» (Л. Флейшман. Указ соч., с. 212).

Но зная эти слова, Флейшман все равно настаивает, будто издания добились именно эмигранты, не видя, что в его изложении вся линия Феликса Морроу (которую

Флейшман, заметим, подробно описывает) становится каким-то лишенным смысла дорогостоящим приключением. Потому что если всего добились эмигранты, то зачем, собственно говоря, этот тайный агент Морроу был нужен? Какой-то получается неуловимый Гарри из старого анекдота.

Еще интересней то, что у Л. Флейшмана линии ЦОПЭ—Мутон нет вовсе, хотя, судя по сноскам, он мою книгу открывал и отдельно об обоих издательствах пишет. И получается, что нелепое ЦРУ зачем-то, в придачу к Морроу, наняло в Европе еще каких-то американцев и голландцев. Вечно эти западные разведки идут каким-то вычурным путем: нет, чтобы подрядить нескольких эмигрантов за скромную плату.

Не хочется Лазарю Флейшману писать о штатных сотрудниках ЦРУ и BVD, получивших секретное задание выпустить роман, не подпуская при этом к нему ни одного эмигранта. Поэтому и нет таких — Йоопа ван дер Вилдена, Пита Гербрандса, Руди ван дер Беека. Нет и не было. Портят концепцию. В результате, «Встреча русской эмиграции...» ограничивается ссылками на устаревшие статьи Петры Кувее, не знавшей о линии ЦОПЭ и потому не сумевшей связать набор в Мюнхене с печатью в Гааге. Работа Л. Флейшмана, тем самым, сознательно оперирует сведениями десятилетней давности.

Увы, требовалось ЦРУ, чтобы от слов перейти к делу. Нужна была не идеалистическая, красивая, маниловская мечта Геннадия Андреева, Виктора Франка, Михаила Корякова, а грубый цинизм американской разведки, заинтересованной в нанесении политического удара по репутации Кремля.

Абсолютно необедительными выглядят такие рассуждения Флейшмана: «...администраторы ЦРУ, не искушенные в русской литературе и вряд ли читавшие по-

русски, могли испытывать законные сомнения в разумности расходования усилий и средств на книгу...» (с. 147).

Все проще. Им не было нужды использовать содержание «Доктора Живаго», им важен был сам факт запрещения книги в СССР. А медлительность на американской линии этой истории (линия Морроу) объяснялась ожиданием полюбовного соглашения Мутона с Фельтринелли. Когда же дело стало непозволительно затягиваться, американцы решили действовать сами. Важны были только два обстоятельства: скорость (поспеть к нобелевскому голосованию, а попутно и к Брюссельской выставке) и имя Фельтринелли на титуле.

Вряд ли уважаемому ученому стоило, даже в полемических целях, называть сотрудников голландской службы BVD — тех, чьи имена мы впервые ввели в пастернаковедение, — «безликими агентами-марионетками на местах». Открыв нашу книгу, Лазарь Соломонович мог бы узнать их имена.

Нет, «русским» был только первый этап этой истории. Эмигранты выступали с восторженными и озабоченными статьями в газетах и журналах (по большей части финансировавшихся ЦРУ), гадали, когда и в каком издательстве может появиться скандальная книга. Им доверили секретный набор и корректуру, что логично. Без русских тут действительно было не обойтись. Но на решающей стадии этой спецоперации им участия не предоставили: адреса и названия типографий держали от них в тайне — и на американской линии, и на европейской.

Американские политики не «прислушались» к эмигрантам, а просто использовали поднявшийся всемирный ажиотаж вокруг книги для своих корыстных целей. Желание эмиграции прочесть роман по-русски *совпало* с

необходимостью для ЦРУ предъявить в Стокгольме русское издание.

Кто такие были Нина Берберова, Михаил Коряков, Юрий Терапиано и прочие интересные нам фигуры изгнанников для американской разведки, для Госдепартамента, для политиков и дипломатов? Это были мелкие служащие, нанятые в этнические организации, финансируемые ЦРУ, — в ЦОПЭ, на Радио Свобода, в «Русскую Мысль». Лазарь Флейшман допускает серьезную аберрацию, путая значение этих фигур для русской культуры в диаспоре, с одной стороны, и для американской политики — с другой. Даже голоса таких институализированных эмигрантов, как Виктор Франк (крупный менеджер сперва Би-Би-Си, а затем Радио Освобождение) или Глеб Струве (профессор университета в Беркли), серьезного воздействия на принятие решений в Лэнгли не имели.

Вообще, подавать дело так, будто эмигранты определяли что-то принципиальное, влияли на что-то судьбоносное, значит вводить читателя в полнейшее заблуждение. Эмигранты были рябью, иногда — волнами, пусть даже высокими, даже с барашками — на поверхности бездонного океана. Посейдону смешно до колик, когда этих барахтающихся и отплеывающихся несчастных хотят представить покорителями стихии.

Пример закрытия в 1956 году самого крупного послевоенного книжного предприятия — Издательства имени Чехова — показывает, что когда решение о финансовом отказе принято, никакое культурное значение, никакая литературная ценность, никакая философская глубина выпускаемых книг не значат для американцев ровным счетом ничего. ЦРУ интересовалось только одним — гарантийным, так сказать, письмом от эмигрантского издателя, дающего руку на отсечение, что данная книга нанесет определенный урон коммунистической репутации,

престижу, идеологии и, тем самым, опосредованным образом, в дальней перспективе, военно-политической мощи советской державы. Все остальное было барашками на воде.

И под таким углом зарубежные русские старались повернуть все издательские предложения послевоенных лет. Эту ситуацию буквально на пальцах объяснял Борис Филиппов, общавшийся непосредственно с американскими чиновниками, принимавшими решение, оплачивать или не оплачивать какую-либо рукопись:

«...деньги будут идти из источников разных, в том числе от частных лиц, заинтересованных в изданиях русских *несоветских* книг, а, особенно, книг, в СССР запрещенных или полуопальных <...>. Скажем, при 2.000 тираже *половину* купят лица, заинтересованные в том, чтобы эти книги проникали на ту сторону, — типа ЦОПЭ и др. Это обещано твердо. Даются и деньги. Об этом не следует рассказывать, конечно, но то обстоятельство, что половина тиража *сразу* покупается, и способствует получению денег у частных лиц» (письмо Глебу Струве, 10 февраля 1959, Hoover Institution Archives, Gleb Struve Papers. Box 83, folder 14).

«Вопрос о русском издании „Живаго“ был, как мы видели, поднят еще перед выходом итальянского», — пишет Лазарь Флейшман (с. 100). Правильно, раньше. Но вывод, который он из этого делает, неверен. Желания эмиграции оказалось абсолютно недостаточно, и за полвека, прошедшие с конца 1950-х, так ни одного собственно эмигрантского издания «Живаго» и не появилось, — все были чьи угодно, но только не эмигрантские: фельтри-

неллиевские, мичиганские, мутоновское, филипповское, флегоновское.

Да и кто хотел выпустить роман «перед выходом итальянского»? Виктор Франк. Как же он планировал это сделать? Уж верно не сам, таких денег у него быть не могло, а в каком-нибудь издательстве. В каком же? Кому мог он предложить подобную деликатную акцию, кто мог соблюсти все необходимые правила игры по выпуску культурной (пока что — не политической) сенсации? Требовался издатель не коммерческий, а скорее университетский или религиозный, а то и частный благотворитель.

Мы знаем, что затея Франка ни к чему не привела, да и понимать его желание надо не в издательском плане, а в редакторском: он желал подготовить пастернаковский роман к выпуску, возможно, сопроводить его вступительной статьей, дать книге толкование, философскую и историко-культурную огранку, — то есть сделать все то, что он и осуществил в своих русских и английских статьях, разбросанных по периодике тех лет. «Доктор Живаго» был для Франка не типографской, а редакторско-комментаторской целью. Тем самым, слова Л. Флейшмана о том, что «вопрос о русском издании» был «поднят еще перед выходом итальянского», нельзя принимать без специальной оговорки.

Утверждая, что экземпляры русской машинописи «Доктора Живаго» широко ходили по рукам на Западе (с. 145—146), Лазарь Флейшман противоречит сам себе, указывая, что «среди тех немногих счастливцев, которые получили доступ к оказавшимся на Западе экземплярам машинописи, был Н. А. Струве». Тут же Л. Флейшман приводит слова Никиты Алексеевича, писавшего 21 июня 1958 года из Парижа своему дяде Глебу Петровичу в Калифорнию:

«Мне недавно, под секретом, удалось прочесть роман Пастернака (увы, без конца пока) <...>. Если будешь писать „моим“, то не упоминай об этом, я им не говорил, что читал роман, чтобы меня не загрызли» (Флейшман, с. 109).

«Мои» — это парижские члены клана Струве: библиограф-антиквар Алексей Петрович (отец Никиты), протоиерей Петр Алексеевич (дядя) и многочисленная родня. Уж если Никита Алексеевич, находившийся в гуще литературной эмигрантской среды, не мог раздобыть «хвост» романа и таил сам факт чтения, то зачем Лазарь Флейшман высмеивает трудности с получением текста за полтора с лишним года *перед* тем?

Перечислив тех, кто радостно принял известие о появлении на итальянском языке пастернаковского романа и предвкушал его выход по-русски, Л. Флейшман заключает: «Именно в этих западноевропейских кругах увидели в находящемся в Советском Союзе Борисе Пастернаке ближайшего себе единомышленника. Здесь, а не в среде чиновников и агентов западных разведок (или наборщиков эмигрантских типографий) роман Пастернака и судьба его автора находили естественный и живейший отклик».

Стоит ли так высокомерно обходиться с наборщиком эмигрантской типографии и приносить его даже в риторическую жертву ради укола в мой адрес? Уж Григорий-то Данилов и Пастернака любил, и через всю жизнь пронес гордую память о своем участии в подготовке издания. Но дело даже не в высокомерном высказывании, а, прежде всего, в том, что сколь бы «естественным и живейшим» ни был отклик, он равным счетом не повлиял

на действия ЦРУ. Мухи и котлеты в этой истории были отдельно.

Рисуя картину общественной реакции на появление пастернаковского романа, Флейшман дает внушительный перечень западных и эмигрантских отзывов на выход «Доктора Живаго» по-итальянски, десятков рецензий, мнений и наблюдений. Здесь имена Николо Кьяромонте, Альберто Моравиа, Бориса Суварина, Франсуа Бонди, А. Руннквиста, К. А. Еленьского, А. Селивановского, Жана Обэна, Дени де Ружмона, Эдмунда Уилсона, Игнацио Силоне, Мелвина Ласки...

При такой поддержке, намекает Л. Флейшман, Пастернак непременно получил бы Нобелевскую премию. Может быть, но трудно спорить с сослагательностью.

Повлияли ли десятки рецензий западных интеллектуалов на решение Нобелевского комитета? Да, несомненно!

Имели ли они хоть малейшее отношение к организации и тайному осуществлению русского издания? Нет, ни малейшего!

Вероятно, мировая поддержка Пастернака сказалась на принятии в Лэнгли решения о вмешательстве. Но только у ЦРУ были свои виды на эту историю, и то, что для западных интеллектуалов было целью (успех пастернаковского замысла), для американской разведки становилось средством. Одни — хотели, другие — делали.

Вытягивать из ЦРУ деньги клещами эмигрантам нужно было до появления истории с «Живаго» и после нее, а пастернаковский случай стал редчайшим исключением, когда американцы не могли пустить дело на самотек, потому что ставка была исключительной и разовой. Никто из прочих советских писателей ни до, ни после Пастернака претендовать на Нобелевскую премию не мог. Исключение — Солженицын, но там и обстоятельства бы-

ли другими. Аксенова, Владимова, Войновича, Галича, Гобаневскую, Довлатова и других, запертых в СССР авторов, не требовалось издавать тайком: ими со знанием дела занимались официально зарегистрированные издательства — «Ардис», «Посев», «УМСА-Press» и другие. Синявский с Даниэлем — исключение, они таили свои имена, поэтому и выпускало их особо доверенное издательство — вашингтонское «Международное литературное сотрудничество», состоявшее из одного Бориса Филиппова. Никакая спешка или особые премиальные планы с этими авторами у ЦРУ связаны не были, они проходили по разделу обычного антисоветского тамиздата.

«Доктор Живаго» же был штучным случаем, с ним были связаны сроки, невозможность срыва, тайный набор и тайный контрольный вариант набора, выманивание несговорчивого Фельтринелли, политическая провокация на международной ярмарке, финансирование многих привлекаемых лиц, крупные денежные затраты и анонимность, анонимность, анонимность на каждом этапе. Какой обществу можно было все это доверить? Такая операция успешна только в том случае, когда все нити находятся в одних руках. И поэтому вряд ли стоит уничтожительно писать о «каком-то» типографском работнике.

Верно, на Пастернака как на жертву сталинизма некоторые издания (например, мюнхенский «Литературный Современник», 1951—1954) обратили внимание задолго до романа, и уж тем более такое отношение к писателю стало общим местом после публикации книги, но это нисколько не отменяет разовости разведоперации.

ЦРУ выпустило роман Пастернака *без* русской эмиграции, *несмотря* на русскую эмиграцию, *тайно* от русской эмиграции. Об этом — «Отмытый роман».

Ни одного факта из моей книги Л. С. Флейшман опровергнуть не смог, ни одного свидетельства против

приведенных мною не привел. Но все, что доказывает *секретность* издательской операции, он попросту оставил без внимания. Нет никакого Йоопа ван дер Вилдена, нет никакого Рууди ван дер Беека, ни с какими американцами они в Голландии не встречались, нет их и не было в целом свете. И ничего они Питеру де Риддеру не передавали. Верстка романа свалилась ему на голову сама. И ничего Йооп ван дер Вилден на грузовике агенту ЦРУ в Вассенаар не отвозил, и в Брюссель книга пришла сама, по шучьему велению.

И даже Феликс Морроу (на письма которого сам Лазарь Флейшман в свое время мое внимание и обратил) повисает во флейшмановском изложении в воздухе. Лазарь Соломонович перечисляет его поступки и про Эльзу Берно пишет. Только зачем они в его книге фигурируют? Как вписываются во флейшмановскую картину?

Никак.

Но они были — и неудачник Феликс Морроу, и статный Йооп ван дер Вилден, и еще целый ряд людей, чьи имена мы со временем надеемся разыскать и назвать. Они были, они-то и провернули без лишнего шума эту историю, пока «русская эмиграция и западные интеллектуалы» размышляли о творческих особенностях пастернаковской прозы.

Не нужны были ЦРУшникам Нина Берберова, Виктор Франк и tutti quanti, — то есть, конечно, нужны, но по-своему, для других целей, не имеющих отношения к изданию «Живаго».

Литературная общественность нужна была «для шума». Я нисколько не хочу сказать, что Глеба Струве или Эдмунда Уилсона кто-то принуждал писать о Пастернаке, тем более, хвалить или любить его. Ни Боже мой, ЦРУ, в отличие от советского Агитпропа, такими глупостями не занималось. Но литературные критики своими статьями и

выступлениями создали ту атмосферу, в которой ЦРУ (и не только ЦРУ, но и ни от кого не зависящие члены Шведской Академии) почуяло интересные политические возможности.

Русским эмигрантам русский «Доктор Живаго» нужен был для торжества русской культуры, для повышения собственных акций, для посрамления кремлевской пропаганды, для решения множества других крупных и мелких задач, которых они еще не могли предвидеть. А американской политике нужна была антисоветская Нобелевка — отчасти для тех же перечисленных целей. Только вот торжество русской культуры в Лэнгли никого не интересовало.

Была, конечно, еще одна причина не выпускать роман открыто: эмигрантские организации были не просто пронизаны советскими агентами, но прямо сочлились ими. Иногда трудно было с уверенностью сказать, кого в том или ином учреждении больше — советских разведчиков или подлинных антикоммунистов. Этим людям нельзя было доверить деликатную операцию. Л. С. Флейшман сам же приводит письмо Юрия Иваска, которому под страшным секретом показали в Мюнхене верстку «Живаго», и что же? — В ближайшем же письме тот выболтал секрет Глебу Струве. Именно поэтому не знающие ни слова по-русски бесстрастные американцы и голландцы подходили для выпуска русского романа куда лучше, нежели озабоченные его судьбой российские изгнанники.

Но только когда у американцев появилась *мотивация* для выпуска пастернаковского романа, все пришло в движение.

Остановимся еще на нескольких ошибках во «Встречах русской эмиграции».

Всячески пытаюсь приуменьшить роль ЦРУ в живаговской истории, Л. Флейшман, вопреки фактам, говорит о ненужности мальтийской операции по похищению манускрипта: исследователь называет имена тех эмигрантов, у которых ЦРУ (или британская разведка) могли бы, якобы, позаимствовать текст: это историк Георгий Катков, переводчики Макс Хейуард и Маня Харари, журналист Виктор Франк и редакторы американского издательства «Пантеон».

Этот тезис Л. Флейшмана неверен, поскольку мальтийский эпизод относится ко времени, когда ни одна из упомянутых разведок понятия не имела о существовании каких-либо экземпляров, кроме фельтринеллиевского: Мальта, как мы показали в «Отмытом романе», случилась поздней осенью 1956 года, когда между Москвой и Миланом пошли сообщения, озабоченные издательскими планами Фельтринелли. Вот тогда и понадобилась американцам джеймс-бондовская помощь англичан. И только если принять эту дату (не позже!), пасьянс начинает сходиться. Пересняв рукопись и изготовив не меньше двух копий, ЦРУ, разочарованное тем, что роман не представляет для них никакого интереса, депонировало одну из копий в сейфе директора издательства Мичиганского университета Фрэда Вика, который, очевидно, пользовался особым доверием разведки. В начале 1959 года Фрэд Вик публично назвал время поступления рукописи — за два года перед тем, то есть, приблизительно, начало 1957 года. В пользу правдивости Виковых слов говорит то, что это заявление он сделал *после* улаживания трений с Фельтринелли, то есть после раздела рынков по продаже «Живаго». Так что слова Вика о столь раннем получении рукописи *не могло быть* аргументом против Фельтринелли.

Тем не менее, Л. Флейшман пишет:

«В истории издания „Живаго“ ЦОПЭ в лице своего нового — Американского — отдела, выдало свое участие лишь на краткий миг, когда в конце сентября оно оповестило читателей *Нового Русского Слова* о получении в Нью-Йорке первого экземпляра издания. По-видимому, предполагалось, что организация возьмет на себя распространение книги в США (кто и как будет распространять ее в Европе, не говорилось). Но очень быстро на сцену выступило другое, новое действующее лицо — Издательство Мичиганского университета в альянсе с *Новым Русским Словом*, тогда как о намерениях и возможностях Американского отдела ЦОПЭ быстро забыли» (с. 159).

К этому месту Л. Флейшман делает примечание:

«Эта хронологическая последовательность показывает, какую ошибку совершил И. Н. Толстой, приняв за чистую монету утверждение директора Издательства Мичиганского университета Фреда Вика в его газетном интервью, напечатанном в феврале 1959 года, о том, что машинопись оригинального текста „Доктора Живаго“ попала в издательство уже в 1957 году» (там же).

Лазарь Флейшман не учитывает здесь следующего. Выпуск пастернаковского романа ограниченным тиражом был одной задачей для ЦРУ, а его коммерческое распространение — совершенно другой. С выходом книги в «Мутоне» и раздачей ее на Брюссельской выставке спецоперация заканчивалась, раздуть ее и выводить на рыночные просторы американская разведка совершенно не собиралась, да и не имела таких полномочий. Дело было

сделано, менять его масштаб в планы не входило. Поэтому шаги некоторых членов ЦОПЭ (Юрасова, например) были пресечены в самом начале, едва было произнесено первое же слово. Флейшман не замечает того временного промежутка, который пролегал между прекращением ЦОПЭ-шных обещаний распространить книгу в Америке и появлением на публике Издательства Мичиганского университета, ранее в интересе к русским книгам не заподозренного. В этот промежуток и закончилась мутоновская история книги, а после паузы началась другая — мичиганская. У каждого из этих издательств был в руках свой набор, и хотя оба они восходили к мальтийскому «похищению», набирались они в разных местах, а, главное, вычитывались разными редакторами.

Мутоновскому тексту давать ходу нельзя было еще и потому, что с Фельтринелли было достигнуто хрупкое перемирие и требовалось теперь отойти в сторону. Следующие главы этой эпопеи писать предстояло другим.

Издательство же Мичиганского университета, хоть и обладало тем же текстом от ЦРУ, приступало именно к другой «главе»: оно само вело переговоры напрямую с Фельтринелли, ни за чью спину не пряталось, называло себя собственным именем. Вот на эту смену действующих лиц между актами и ушло несколько дней, что видно по растерянности «Нового Русского Слова». И Лазарь Флейшман напрасно представляет дело таким линейным образом, что, мол, сперва «Мутон» и только потом — Мичиган. У нас нет оснований не доверять директору Фрэду Вику. И, значит, принимать упрек в «ошибке» я не вижу оснований.

Риторика, таким образом, у Лазаря Флейшмана обвинительная, а вот аргументы для нее — неверные. Впрочем, он сам понимает это:

«С другой стороны, — отмечает он, — и это заявление Ф. Вика совершенно высосанным из пальца считать нельзя: действительно, машинопись, на основании которой готовилось русское издание романа, в руки Ф. Морроу попала зимой 1957—58 г., когда он и обратился с нею к Раузену».

А раз так, с чем же Лазарь Соломонович спорит? Получается, что ни с чем.

Пытаясь сладить с расползающейся хронологией, Л. Флейшман прибегает к фальшивым ссылкам. На страницах 146—147 он уверяет читателя, что исследовательница Петра Кувее, «опираясь на свидетельство Жаклины де Пруайяр», приводит «справку о ее (Жаклин — *Ив. Т.*) встрече с Николаем Набоковым, секретарем Конгресса за свободу культуры, в августе 1957 года, когда Набоков предложил профинансировать издание русского текста в количестве одной тысячи экземпляров».

Это лже-указание. Ничего подобного у Жаклин де Пруайяр не написано. Она лишь ссылается на набоковское письмо в издательство «Галлимар», отправленное 18 августа 1957 года, но никак не на свою встречу с отправителем.

Не было у Жаклин встречи с Николаем Набоковым ни в 1957, ни в 1958 году. Они познакомились лично, когда вся эта история была уже позади — только в 1959, во время подготовки к Толстовскому конгрессу в Венеции. Проверить этот факт не составляет труда: Жаклин де Пруайяр жива и не меняла своего парижского адреса в последние полвека. Она обнаружила набоковское письмо Галлимару лишь в начале 1990-х. (Письмо это, напомним, было предложением выпустить русский текст «Живаго» тиражом в одну тысячу экземпляров для библиотек).

Характерно, что фальшивая ссылка на Кувее-Жаклин понадобилась Флейшману для опровержения моих доводов. В итоге — опять провал.

Раз уж речь зашла об инициативах Николая Набокова, воспользуемся случаем и приведем отрывок из неопубликованного письма Николая Дмитриевича к сэру Исайе Берлину, написанного 10 июня 1958 года:

«Geneva. 10.6.58

Шэр Ами,

<...> А я к Вам с делом:

— Я тут „стоял“ у Mme Feltrinelli („sua madre“) (его матери — *Ив. Т.*) и говорил с Giangiacomo Feltrinelli по телефону. Он решился напечатать, как я ему еще в прошлом году советовал, Живаго за свой счет и под именем своей фирмы. Он гов<орит>, что Пастернак согласен, но хотел бы, чтобы кто-нибудь смог быстренько „проверить“, согласен ли он еще (т. к. согласие Паст<ернака> Фельтринелли получил до выхода итал<ьянского> издания, до всей бучи, поднятой и тут и там и до своего личного выхода из Партии). Не могли бы ли Вы найти какой-нибудь верный „channel“ (канал — *Ив. Т.*), чтобы спросить П<астернака>, т. к. Фельтринелли очень не хочет каким бы то ни было образом ему повредить.

С другой же стороны он хочет как можно скорее выпустить русское издание, т. к. он осведомлен о том, что или в Англии, или в Америке, или в Париже круги полу-разведочно-амерлоканского порядка „pirated“ (спиратили — *Ив. Т.*) текст Пастернака и собираются выпустить русское издание, которое бы

при таких условиях наверное повредило бы Пастернаку в Москве. Будьте, миленький, добры и ответьте мне в Париж с просьбой *faire suivre* (переслать — *Ив. Т.*) и с обозначением „personal“ (лично — *Ив. Т.*) на конверте по адресу моей конторы» (Sir Isaiah Berlin Papers, MS Berlin 270, Department of Special Collections, Bodleian Library, Oxford).

Николай Набоков, как видно, продолжает свои прежние шаги и год спустя после обращения к Галлимару. Какой, однако, настойчивый! И ведь у него как у генерального секретаря Конгресса за свободу культуры есть необходимые средства и большое желание выпустить пастернаковскую книгу, — почему же он не делает этого? По логике Л. Флейшмана, должен был бы. Почему идет все тем же путем: ищет «крышу», юридическое прикрытие для издания? Для этого подходил и Галлимар, поскольку Пастернак сам дал ему разрешение, и Фельтринелли: оба имени делали бы книгу официальной.

Сам Николай Набоков отыскивал столь политически безупречные пути, или кто-то помогал ему в этих поисках? Пусть он персонально не догадывался, кем обильно финансируется и направляется его Конгресс, но люди, дававшие на это деньги, наивностью не страдали.

Отметим и то, насколько рано слух о похищении живаговского текста («полу-разведочно-амерлоканскими» кругами) обсуждался в международной переписке современников — в июне 1958 года. Это отнюдь не позднейшая легенда.

Вернемся к аргументам Лазаря Флейшмана. В рассказе о Владимире Толстом-Милославском, раздававшем экземпляры «Живаго» в Ватиканском павильоне Брюссельской выставки, исследователь настаивает, что Толстой-Мило-

славский все-таки посещал Пастернака в Переделкине, и строит на этом целый ряд умозаключений. Но не проще ли снять телефонную трубку и позвонить за деталями самому Владимиру Сергеевичу? Нет, Л. Флейшман этого не делает. Не звонит он Жаклин де Пруайяр, не звонит Питеру де Риддеру, не тревожит мюнхенских ветеранов ЦОПЭ. Между тем, на интересующие вопросы еще сегодня, в 2010 году, можно получить ответы от живых свидетелей.

Так вот, Толстой-Милославский никогда не видел Бориса Пастернака и попал в Москву уже после выхода «Доктора Живаго», когда приехал в 1959 году переводчиком на Американскую выставку в Сокольниках. А Жаклин де Пруайяр никогда не вычитывала гранок пастернаковского романа, ибо ей их никто не присылал: «Мутон» печатал офсетный тираж по готовой (даниловской) верстке.

Необходимо внести исправления и в составленный Л. Флейшманом библиографический список изданий русского «Живаго» (с. 213—214). Исследователь совершенно корректно делит эти издания на две линии — раузенскую (американскую) и ЦОПЭшную (европейскую), отмечая, что они «в обоих случаях оплачены ЦРУ (прямо или через посредство ЦОПЭ)», и дальше, «в соответствии с происхождением верстки», предлагает две группы. В первую он вносит книги, сделанные по набору Раузена:

1. Мичиганское издание 1959 года (фактически: декабрь 1958).

2. Миланское издание самого Фельтринелли (якобы осень 1958).

3. Миланское издание самого Фельтринелли (якобы конец 1958).

Если пункт 1 описан Флейшманом корректно, то пункт 3 совершенно неправомерно датируется концом 1958-го. По всем известным документам и письмам, Фелтринелли выпустил свою книгу весной 1959 года. Эта дата никогда и никем не оспаривалась за полной ясностью ситуации. Так что можно предположить, что у Л. Флейшмана здесь простая описка.

Сенсация подстерегает нас в пункте 2. Вот как расписывает его Лазарь Соломонович:

«Борис Пастернак. *Доктор Живаго* (Milano: Feltrinelli editore, <1958?>), на обороте титульного листа которого поставлено: Prima edizione mondiale in lingua italiana, novembre 1957; Copyright by Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, а суперобложка с рисунком впереди и с фотографией автора в конце была аналогичной суперобложке первого итальянского издания и американского издания Pantheon Books. Скорее всего, это был вариант, готовившийся в конце 1958 года в пику мичиганскому проекту. Знаменательно, что использован при этом был тот же „раузеновский“ набор, подготовленный весной при посредничестве Морроу».

Предположения Л. Флейшмана необходимо категорически отвергнуть. Даже если бы подобное издание и готовилось, оно никак не могло *использовать раузеновский набор*. Мы знаем (см. схему на форзацах «Отмытого романа») путь этого набора: из типографии Раузена в руки Феликса Морроу; с ним в Голландию (вероятно, к Бриллю); оттуда в Мичиганский университет. К Фелтринелли этот набор мог попасть только в виде *готовой мичиганской книги*, то есть, не раньше самых последних,

уже послерождественских дней декабря 1958-го. И Фельтринелли весной 1959-го выпустил свое русское издание именно в виде стопроцентной копии с «Мичигана» — на это ушло несколько месяцев.

Итак, почтенный исследователь просто выдумал несуществующее издание. На чем же основана его ошибка? Л. Флейшман доверился фельтринеллиевским октябрьским обещаниям напечатать книгу — обещаниям, носившим характер угрозы. В середине осени 1958-го ему было чего опасаться: он боялся лишиться рынка на русское издание. Обнародованные планы Мичиганского университета выпустить собственное русское издание и невозможность для Фельтринелли мгновенной поездки в Соединенные Штаты (как коммунист он был лишен права на американскую визу) вызывали у него бешенство. И он пошел на откровенный блеф: объявил в американском книготорговом журнале «Publisher's Weekly» собственное издание по-русски (см. «Отмытый роман», с. 260). Хитрость Фельтринелли заключалась в том, что у него действительно было «собственное» издание — мутоновское: ведь на нем стояло имя Фельтринелли. И раз уж ЦРУ в августе 1958-го обвело его вокруг пальца, заставив числиться издателем этого пиратского тиража, Фельтринелли получал небольшое моральное удовлетворение, отыгрывая несколько очков назад. То, что Григорий Лунц принял фельтринеллиевское объявление за чистую монету, понятно: тогда всей картины было еще не видно. Но то, что полвека спустя на том же месте поскользывается Лазарь Флейшман, комично.

Недаром, как сообщал Г. Лунц, некто приходил к Фельтринелли, желая купить у него объявленную книгу, — и не смог! Конечно, не смог, потому что ее просто не существовало в природе, а был только «Мутон», но предъявить его — значило саморазоблачиться. Отсюда

такой странный ответ Фельтринелли этому покупателю: обращайтесь в советское консульство, — если оно разрешит, мы продадим вам книгу. Это была форма отфутболивания.

Когда же Фельтринелли получил американскую визу (по убедительному предположению Л. Флейшмана, ему ее дали за заслуги на ниве антикоммунизма: «Доктор Живаго» весил немало) и провел переговоры с мичиганцем Фрэдом Виком, необходимость делать что-то «в пику» мичиганцам отпала, хотя переговоры и шли непросто. Суть трений заключалась в том, что адвокаты Фрэда Вика сомневались в правах Фельтринелли на русское издание вообще и требовали предъявить копию договора с Пастернаком, а Фельтринелли отвечал, что поклялся писателю никогда и никому договора этого не показывать. Верьте, мол, на слово. Рынок они с мичиганцами поделили (все это рассказано в «Отмытом романе», с. 263—264), и, вероятно, Фельтринелли с Виком оговорил право на факсимильное воспроизведение мичиганских страниц под маркой своего издательства: с точки зрения экономии вполне разумно.

Кстати, напомним, что и второе издание Фельтринелли было выпущено по той же технологии: когда Жаклин де Пруайяр внесла все исправления в мичиганскую верстку (1967 год) и на американский рынок наконец-то впервые поступил выправленный текст романа, тогда и Фельтринелли, не тратя лишних денег, взял это новое издание и отпечатал по нему свое собственное. На схеме в «Отмытом романе» это также изображено.

Почему же, спрашивается, отличаются фельтринеллиевские книги из флейшмановских пунктов 2 и 3? Потому, что вариант в твердом переплете и суперобложке был выпущен ограниченным тиражом для подарков, прессы и библиотек, а остальные экземпляры были

оформлены более «демократично»: без супера и в мягкой обложке. Главное, что они покинули типографию одновременно — весной 1959-го — и ничем внутри не отличались друг от друга.

В пункте 3 Флейшман указывает, что «на последней странице» издания в мягкой обложке напечатано: Grafica Sipiell. Milano. Это ничего не меняет: легкие технические отличия между частями тиража.

Реакция Л. Флейшмана на выход «Отмытого романа» заставляет на примере Пастернака задуматься над некоторыми закономерностями культурной мифологии. И хотя наша книга была не столько о самом Борисе Леонидовиче, сколько о судьбе его рукописи, нам пришлось коснуться особенностей его характера и манеры обращения с друзьями, без чего нельзя понять логику развития вокруг живаговских событий.

Появление ЦРУ в качестве действующего лица вызвало у некоторых рецензентов резкое неприятие подобной «судьбы книги»: обстоятельства передачи рукописи на Запад, ее похищение (по легенде — на Мальте), копирование, набор в разных странах, американские, британские, голландские тайные агенты, деньги, возня вокруг Нобелевского комитета — эти невыдуманные обстоятельства оказались для ряда российских критиков столь оскорбительными, что реакцию их стоило бы, на мой взгляд, проанализировать профессиональному социологу. И пусть наш рассказ основан на многочисленных письменных и устных свидетельских показаниях, — очки не действуют никак.

Я не социолог и потому не берусь давать соответствующие оценки, но я пытаюсь понять природу явной травмы, испытываемой читателями «Отмытого романа». Для начала их оскорбило само заглавие —

отмытый, — хотя своими коллективными действиями роман отмывали все, как отмывают незаконно полученные деньги: и Феликс Морроу, и Григорий Данилов, и Питер де Риддер, и Экхаут, и сотрудники ЦРУ, МІ6 и BVD — все были по-своему соучастниками большой игры. Причем, совершая многочисленные противоправные шаги, они, как это и происходит при отмывании незаконного капитала, стремились к его легализации.

Почему? Потому что сама рукопись была нелегальна. Если бы Пастернак мог открыто объявить о своем желании выпустить роман по-русски на Западе, издание появилось бы во мгновение ока. Но при молчащем Пастернаке для выпуска книги требовалось согласие Фельтринелли: иначе миланский издатель грозил подать в суд, а суд накануне голосования Нобелевского комитета мог сорвать все планы американцев. Вот почему все нити требовалось держать в одних руках и секретность шагов была требованием номер один.

Но что же во всем этом оскорбительного для Пастернака? Разве он просил хоть кого-то о *подобном* повороте дела? Даже если кто-то захочет увидеть в его действиях соучастие в отмывании: сам отправил рукопись на Запад (пять раз), сам установил тайную и наполовину зашифрованную переписку с Италией, Францией и Англией, сам секретно получал западные гонорары (нарушая закон хотя бы тем, что не платил с них налоги), — то ни к содержанию романа, ни к его форме, ни к идеям, ни к творческому подвигу писателя все это отношения не имело.

Как художник Пастернак абсолютно прав перед историей, но он, как и все, был еще и гражданином и существовал в определенных социально-правовых обстоятельствах (сколько бы мы ни осуждали советскую систему). И разбирать эти «земные» обстоятельства можно и

должно, они никак не умаляют искусства Бориса Леонидовича.

Но есть читатели, полагающие иначе. В их числе — и Лазарь Флейшман. Для них разговор о ЦРУ недопустим: это хуже телесного низа, тогда как говорить нужно о духовном верхе — о творчестве.

Свойственны ли сегодня эти фобии другим европейским культурам, или это особенность только русской? Кажется, травма — явление универсальное. Человеческий мир, по Лакану, построен на символах. И когда в этот мир неожиданно вторгается что-то постороннее, что совершенно переворачивает символическую конструкцию, рождается травма.

Реакция травмированного Л. Флейшмана тем и примечательна, что он — профессор русской литературы, вот уже тридцать с лишним лет наставляющий студентов в понимании единства жизни и творчества. Бьюсь об заклад, что издательская судьба «Путешествия из Петербурга в Москву», «Горя от ума» или «Мастера и Маргариты» излагается в Стэнфордском университете без гримасы отвращения. Тайная канцелярия, Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии и НКВД — бесспорные участники истории отечественной словесности. Почему же на ЦРУ эти права не распространяются?

И травмированная пастернаковедка Наталия Иванова также не в силах скрыть судорогу безгливости: «А как сражается Иван Толстой за *гипотезу* (курсив мой — *Ив. Т.*) о следах ЦРУ в первом издании на русском языке пастернаковского романа?» (<http://www.openspace.ru/literature/projects/107/details/7690/>).

Помилуй Бог, Наталия Борисовна, Вы говорите: *гипотеза*? Но даже Лазарь Флейшман признает причаст-

ность ЦРУ. Вам же милее возвышающий обман. Простите, что путаю Вас выявленными фактами.

Приведу еще примеры полемических приемов Л. Флейшмана. 23 декабря мы вместе с ним участвовали в программе «Час книги» на волнах Радио Свобода (ведущая — Елена Рыковцева, адрес программы в интернете: <http://www.svobodanews.ru/content/transcript/1912161.html>).

Л. Флейшман говорил:

«...что для меня совершенно неприемлемо в книге Ивана Толстого — это такая позиция, что все ясно, все выяснил, все установил. Это крайне претенциозная позиция и совершенно ненаучная. (...) Мне трудно читать такие работы. А ненаучность заключается в том, что на одной и той же странице, в одном и том же абзаце совершенно противоречивые выдвигаются положения, и автор даже не замечает этого. Ненаучность заключается не в том, что есть какие-то ошибки, промахи, незнания, — это естественно для каждого исследователя, а в том, что автор совершенно даже не старается примирить эти противоречия, не видит необоснованности выдвигаемых утверждений, жонглирует характеристиками, которые абсолютно необоснованны и безответственны».

Отвечу сперва на эту часть обвинения. Я нигде не утверждаю, что мне «все ясно», что я «все установил». Наоборот, число мест в моей книге, где я задаю вопрос и очерчиваю не установленные пятна живаговской истории, едва ли уступает числу безусловно расследованных мест. Моя книга скорее вопросительная, нежели утверждающая. И большая часть моих вопросов приходит-

ся на те области, которые в пастернаковедении неизменно замалчивались и продолжают замалчиваться. И это не только мое авторское оправдание, но об этом же пишет один из рецензентов «Отмытого романа»:

«... с изданием несколько замешкались — история этих проволочек воссоздана автором с большим количеством логических пропусков (когда и сам Иван Толстой разводит руками и констатирует — „причины неизвестны“, „никто не знает, почему...“ и т. п.)» (М. Загидуллина. Между исследованием и расследованием. // Новое литературное обозрение, № 96, 2009).

Так что все ли я установил или, наоборот, признаюсь, что причины мне неизвестны, каждый рецензент решает по-своему. Мне как автору, в самом деле, остается лишь «развести руками».

Л. Флейшман продолжает:

«Например, на 8-ой странице говорится: „Жаклина (речь идет о графине де Пруайяр) разрешила печатать дефектный текст“. А дальше в той же книге Иван Никитич говорит о том, что дефектный текст был напечатан в обход ее, она совершенно об этом не знала».

Честно говоря, я не утверждал этого, а лишь задавал вопрос:

«Как получилось, — написал я, — что обладательница и хранительница единственного правленного автором экземпляра Жаклин де Пруайяр в свободном Париже, не стесненная ни в перемеще-

ниях, ни в контактах, имея прямое письменное поручение от самого Пастернака (почти что духовное завещание) — издать правильный русский текст, — она, Жаклин, ни слова не сообщив своему поручителю, позволяет осуществиться на Западе безобразному уродцу, никем не вычитанному, с пропущенными строчками, перевранными словами и неправильно прочитанными окончаниями?»

Законен ли мой вопрос? Да, законен. Ведь пастернаковедение (наука, которую представляет, в частности, профессор Флейшман) на этот вопрос ответа не дает. И сама Жаклин де Пруайяр не знает ответа (точнее, не знала до выхода нашей книги). Ей поручили издать роман в «Мутоне», и вот в «Мутоне» роман выходит. Жаклин говорит: это не я. А кто? И Лазарь Флейшман недоволен, что я этот вопрос ставлю. И недоволен он потому, что ответ прост: книгу тайно подготовило, привезло, отвезло и оплатило ЦРУ. И это объясняет случившееся и оправдывает графиню де Пруайяр: она действительно ни в чем не виновата, ее обманули. А для профессора Флейшмана это удар, разрушение концепции, которую он, вопреки документам, охраняет.

Обратим внимание на мелкую, казалось бы, но принципиальную передержку: Лазарь Соломонович утверждает, что я говорил «разрешила печатать дефектный текст». Некрасиво, почтеннейший профессор: я написал «позволяет осуществиться <...> безобразному уродцу». «Разрешила» — это активная позиция (и тогда я обвинял бы Жаклин), а «позволяет осуществиться» — пассивная, и я на протяжении всей книги разбирался в обстоятельствах, придя в итоге к *оправданию* графини де Пруайяр.

Где же у меня, интересно, «противоречия»?

Еще цитата из радиопрограммы. Л. Флейшман говорит:

«Или, например, он (то есть, я — *Ив. Т.*) называет этот набор хулиганским. А почему он хулиганский? Там полным-полно ошибок, может быть, его не выверяли. Но почему он хулиганский?»

А потому, Лазарь Соломонович, хулиганский, что 824 орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки в мутоновском и фелтринеллиевском изданиях (совокупно) — это нарушение авторского замысла, нарушение художественного порядка. А нарушение порядка, сообщает словарь, называется хулиганством. Между прочим, Пастернак был того же мнения: «Русское миланское издание романа, — писал он Жаклин де Пруайяр 30 марта 1959 года, — пестрит досадными опечатками. Это почти что другой текст, не мой».

И, наконец, общая характеристика моего труда:

«...книга заполнена совершенно произвольными рассуждениями, не имеющими никакого отношения к делу. Это какая-то компиляция ненаучная, я бы даже сказал, это даже не журналистское исследование, а поспешная запись спонтанных, устных разговоров, надерганных с разных мест».

Интересно, нашу ли книгу читал профессор Флейшман?

Одна из читательниц «Отмытого романа», голландская славистка Петра Кувее, выразила в частном письме ко мне свое недоумение от того, что сотрудник «Мутона» Питер

де Риддер оболган в моей книге и что я взял у него интервью лишь после выхода моей книги из печати. Разумеется, все было наоборот: сперва интервью, затем — книга, однако нужды приводить большую беседу с де Риддером целиком я не видел, как не вижу и сейчас. Дело в том, что Питер де Риддер как свидетель и мемуарист требует столь же критического подхода, что и другой герой нашего повествования, — Феликс Морроу, тоже путавший обстоятельства, мотивы поступков и хронологию. Была и еще одна причина обойтись без распечатки интервью с де Риддером: его биография в изложении историка Яна-Пола Хинрикса вполне корректна и нуждается исключительно в косметических поправках.

Теперь же, в ответ на упреки читательницы, приведем некоторые фрагменты нашей беседы, состоявшейся в октябре 2008 года, оставляя за страницами книги подавляющую часть разговора, которая была посвящена моим попыткам напомнить голландскому издателю общеизвестные обстоятельства выхода романа.

Утверждения Петры Кувее, что мой рассказ расходится с тем, что ей самой излагал де Риддер, приходится отнести в разряд холостых выстрелов — именно потому, что она призывает некритично принимать на веру версию заинтересованного человека: никто, разумеется, не хочет быть заподозренным в связи с тайной полицией. Ответы же де Риддера не могут не вызвать недоумения у каждого, кто мало-мальски знаком с культурными аспектами холодной войны.

И еще об одном сходном упреке Петры Кувее. Она написала мне, что рассказанное мною расходится с тем, что написано у других исследователей, и с тем, что стало ей известно из общения с некоторыми фигурантами живаговской истории.

Да, расходится. А как может быть иначе? До «Отмытого романа» вопрос об обстоятельствах выхода пастернаковского романа оставался проясненным не до конца. Никто из писавших на эту тему не знал о существовании второй — европейской — линии подготовки «Живаго». Исследователи (и Петра Кувее в их числе) пользовались лишь одной половиной карты, основанной на показаниях путаника Феликса Морроу. Теперь у карты появилась вторая половина. Только благодаря ей живаговская история становится — нет, не законченной, конечно, не полностью проясненной, — но, как минимум, непротиворечивой. Сюжет стал понятней, концы с концами сходятся ближе, у действующих лиц оказалась яснее прорисованной мотивация.

Мешать Петре Кувее придерживаться устаревших представлений я не намерен.

Питер де Риддер живет в небольшом доме под Лейденом и пишет на пенсии историю своего крошечного городка. Во время нашей встречи ему 85. Это любезный почтенный старик, охотно отвечающий на все наши вопросы и едва заметно нервничающий. Может быть, оттого, что включена видеокамера?

Чем занимался он в Германии? Что входило в его обязанности? — Сперва он работал на машинном заводе во Франкфурте-на-Майне, потом собирал фрукты в чьих-то угодьях, потом трудился на газовом предприятии в Дармштадте, пока, наконец, не попал в типографию во Фрайбурге, где занимал должность издательского работника по связям, своего рода поставщика.

Работал ли он непосредственно в типографии? Стоял ли у станка? — Нет, никогда, для этого существовали профессиональные линотиписты.

Что же печатали те типографии, которые он обслуживал? — О, самые разные книги. В том числе, и на голландском языке. Вот тут и требовалось его знание родного языка.

А что же это были за книги на голландском? — Искусствоведческие издания, посвященные религиозной тематике.

Во время войны? Искусствоведческие издания? Были ли они коммерческими заказами? — Да, это были именно коммерческие заказы. Фрайбургское издательство Heider Verlag выпускало их по-немецки, де Риддер переводил на голландский для католического издательства Het Spectrum в Утрехте. Обыкновенные книги по иконам.

Много ли Вам платили? — Нет, платили немного, но во время войны потребности человека были весьма скромными. Когда же издательство во Фрайбурге было разбомблено союзниками, он перебрался в Вену, где нужен был человек для выпуска листов с лотерейными билетами.

Нет, о бриллевской продукции в те годы он ничего не слышал. И никогда не имел никакого отношения к таким изданиям, к которым после войны у победителей могли быть какие-либо претензии.

Когда в 1945-м в Вену пришли советские войска, Питер де Риддер получил разрешение вернуться на родину. Для этого нужно было ехать кругом. Крупнейшими городами на его пути были Будапешт (он запомнил там демонстрацию 1 мая), Кишинев (где он несколько раз играл в футбол с другими сбившимися с пути европейцами) и Одесса, точнее, крупный накопительный лагерь под Одессой, где одновременно собрались десятки тысяч иностранцев. Об этом лагере есть целый ряд воспоминаний, рассказывающих о бесчисленных провокаторах и странных личностях, разгуливавших среди разноязыких толп и почти открыто вербовавших иноземцев. Причем,

согласие работать на советскую разведку ставилось условием быстрого освобождения и отправки на родину.

Нет, его никто из советских представителей не допрашивал, никто не интересовался ни его профессией, ни тем, какие языки он знает.

А потом в числе сотен других его погрузили на пароход. Это был тот самый пароход, который курсировал между Марселем и Одессой, привозя из Европы советских военнопленных (которых, кстати, немедленно арестовывали), а обратно отправляя европейцев.

Вот там в лагере под Одессой он и получил новую одежду взамен совершенно износившейся старой. А так как гражданского платья в то время достать было нельзя, ему выдали советскую военную гимнастерку, штаны и ботинки. Он был с виду таким советским воином, только без знаков различия. И где-то во время пересадки в Бельгии он услышал, как мальчик за его спиной на улице спросил у своего отца: «Папа, а кто этот канадский солдат?» Так в советской форме он и переступил порог родительского дома в Лейдене.

Начались допросы в голландской контрразведке. Допрашивали долго и детально, но проблем в результате не возникло.

Осенью 1945 года де Риддер поступил корректором в издательство Брилля. В качестве первой обязанности ему поручили составить отчет о том, что же за продукцию печатало бриллевское издательство во время войны. Главный редактор был к тому времени уже арестован за выпуск прогитлеровских изданий, и де Риддеру предстояло свидетельствовать, до каких степеней доходило коллаборантство в годы оккупации.

За семь лет работы у Брилля, с 1945 до 1952 года, он не только поднялся от корректора до редактора, но по собственной инициативе открыл еще и антикварную

торговлю книгами по славистике. Классическая крыша, как сказал бы начитавшийся шпионских романов читатель. Но поскольку Бриль не был заинтересован в существенном расширении своего бизнеса, де Риддер предложил свои услуги другому голландскому издательству — гаагскому «Мутону», который до начала 50-х был обычной печатней, тиражировавшей все подряд вплоть до ведомственных бланков. Единственным широко известным в Голландии изданием «Мутона» был старый роман Фредерика ван Эдена «Малютка Иоанн», выдержавший за полвека с лишним несколько десятков переизданий.

В начале 1950-х профессор Роман Якобсон искал возможность выпуска филологических изданий на постоянной основе и каналы обмена трудами с учеными в Советском Союзе и Восточной Европе. Создавать такое издательство на континенте было, конечно, разумнее, нежели за океаном. К тому же, после аспирантуры из Гарварда в Голландию возвращался яacobсоновский ученик ван Скуневельд, который брался отстаивать научные интересы своего учителя. Де Риддер для нового дела подходил лучше, чем кто-либо другой. И ему предложили перейти на службу в «Мутон», чтобы бесперебойными заказами обеспечивать основную сторону мутоновского дела — типографскую.

Встав во главе издательского дела, Питер де Риддер занялся славистскими и лингвистическими сериями, выпуская книги, за которые часто никто другой в мире в те годы и не взялся бы, закупал необходимые издания в Советском Союзе и Восточной Европе и перепродавал их на Западе, а американские и европейские книги слал за железный занавес. Весь этот прибыльный бизнес стоял на невозможности прямых контактов между Москвой и свободным миром, и, разумеется, только Москва и была тому препятствием. «Мутон» дорожил своим посредни-

чеством, не желая нарушать хрупкое международное равновесие вторжением любых политических казусов.

Если де Риддер и был советским агентом, то он занимал хорошее и нужное для разведчика место.

И вот теперь (не исключено, что по наводке Клеманса Эллера, ведшего двойную, как предполагают, игру) какие-то странные люди предлагали Питеру де Риддеру рискнуть всем. О его возможной работе на Москву американцы могли и не знать, но о работе на нацистов знали отлично. Лишний раз афишировать эту сторону своей биографии де Риддер никак не планировал. Припертый к стенке шантажом, он должен был согласиться напечатать «Доктора Живаго».

Необходимо подчеркнуть: у нас нет никаких документов, подтверждающих нашу версию. Все, чем мы пользуемся в поисках мотивов поведения де Риддера, лежит на поверхности и доступно каждому. Но странности в действиях молодого издателя еще только начинаются.

Итак, за полгода до появления на его горизонте голландской контрразведки BVD, в декабре 1957 года, ему позвонил из Парижа Клеманс Эллер и пригласил на уже известные нам переговоры в Париж к Жаклин де Пруайяр. Увозя переданную Эллером микроплёнку с правильным, выверенным текстом «Живаго», де Риддер загрузил в свой автомобиль еще и коробку хорошего французского вина. Путешествие шло гладко, дорога между Парижем и Амстердамом прекрасная, но долгая, и, устав, де Риддер на одном из поворотов где-то в Бельгии не удержал руль и угодил в дерево. Чудное бордо погибло, но пленка не пострадала. Правда, она разделила участь французского вина: она тоже никогда не пригодилась.

Два человека в «Мутоне» были с самого начала против выпуска пастернаковского романа — главный редактор ван Скуневельд и куратор и идеолог издательства

Роман Яacobсон: ни жанр романа, ни ширящийся вокруг него скандал, ни взгляды Пастернака на историю — ничто не соответствовало направлению мутоновской деятельности, строгой по форме и академической по содержанию. И, по словам де Риддера, только один издательский сотрудник был за выпуск книги — он сам.

Почему? Как он объясняет свой интерес?

«Я хотел эту книгу напечатать, — сказал он нам в интервью 2008 года, — по причине ее большой важности для русской литературы. Но у меня было маленькое издательство, готовое осилить 500 экземпляров, от силы 1200, но не многие тысячи. К тому же, у меня не было механизма для распространения большого тиража. Так что издать-то я хотел, но, может быть, чьими-то чужими руками. Но из-за позиции ван Скуневельда и Яacobсона пришлось все это отложить. Вы все испортите, — говорил мне Яacobсон».

И затея была оставлена без движения. Но ненадолго, поскольку приближались сроки очередного голосования в Стокгольме, и силы, заинтересованные в продвижении Пастернака, нуждались в русском издании. В начале лета 1958-го, как вспоминает де Риддер, ему позвонил торговый представитель «Мутона» Питер Блайи (Pieter Bleijie) и попросил приехать для важного разговора с клиентом, желавшим сделать «Мутону» заказ на какую-то книгу по-русски. Клиентом этим был, как мы знаем, Руди ван дер Беек.

Приехав, де Риддер увидел большие типографские листы с готовым набором для офсетной печати, профессионально уложенные по 16 книжных страниц на каждом. Самая трудоемкая часть работы была, тем самым, уже

выполнена. Титульный лист гласил: «Доктор Живаго» (деятельность Григория Данилова и типографии ЦОПЭ).

Здесь в рассказе де Риддера возникает одна из многочисленных неувязок: он, мол, решает ехать к директору «Мутона» Фреду Экхауту с предложением принять этот заказ. Почему? Что изменилось во взгляде издательства на рукопись?

А ничего не изменилось, просто де Риддер вновь возжаждал увидеть роман напечатанным. Удивительное пристрастие, не правда ли? Особенно если учесть, что газеты всего мира наперебой гадают — на каком следующем языке выйдет в ближайшее время пастернаковский роман и к какому новому витку скандала это приведет.

Итак, получив наличными десять тысяч долларов (де Риддер, повторяем, категорически этого не признаёт: он этих денег не видел; Питер Блайи, вероятно, передавал купюры самому Экхауту), руководитель издательства отправил чистую ЦОПЭшную верстку на улицу Herderstraat 5 в самом центре Гааги, где стояли мутоновские печатные станки.

Вопрос о тираже этого, первого, русского издания «Живаго» дискутировался много раз, вернее, не дискутировался, а, скорее, фантазировался: разные исследователи называли разные цифры — 100, 500, 800 экземпляров, историк Ян Пауль Хинрихс полагает, что было отпечатано 1160 экземпляров. Мы встретимся с еще двумя цифрами.

Согласно договоренности с заказчиком (ЦРУ), имя «Мутона» нигде на книге не появляется. Когда тираж готов, блоки переплетаются в характерные синие твердые переплеты. Операция проходит в полной тайне. Каждый, впрочем, волен посмеяться над этим секретом Полишинеля: внешне мутоновские тома «Живаго» ничем не отличимы от всей прочей мутоновской продукции.

Сам ли де Риддер решил поставить Фельтринелли в известность (он утверждает, что — сам) или это была рекомендация заказчиков, но один издатель безуспешно искал другого в течение нескольких дней, пока не выяснилось, что Фельтринелли укатил на синем бьюике в беспечную автомобильную поездку по Скандинавии.

При первом же обсуждении этого заказа с Экхаутом де Риддер, по его утверждению, настоял на том, что на титульном листе непременно должно появиться имя Фельтринелли: «Без имени издавать незаконно». Удивительное признание! «С чужим именем, — рассуждал он далее, — тоже будет незаконно, но, по крайней мере, мы покажем, кто владелец прав».

Не забудем, что вся эта фантазмагория происходила втайне от противников издания — ван Скуневельда и Якобсона, на которых держалось благополучие издательства. Признаться, очень трудно поверить, что подобный авантюризм де Риддера был начисто бескорыстным. Не безумец же он?

Утверждение де Риддера, что имя Фельтринелли появилось на титульном листе сразу же (а не после скандала), опровергается фактом, приведенным в книге Лазаря Флейшмана: у самого Бориса Пастернака был в руках (и хранится в семье до сих пор) экземпляр «Живаго» с именем Фельтринелли в виде полоски, наклеенной на чистую нижнюю часть титула («Встреча русской эмиграции...», с. 156). Этот экземпляр был доставлен автору кем-то из славистов, съехавшихся к 1 сентября 1958 года на Московский конгресс.

Как бы то ни было, де Риддер постоянно колесил между Райсвайком, где находился его издательский отдел, и Гаагой, где печатался тираж и где на втором этаже размещался кабинет Фреда Экхаута, который не мог не знать, как начальник типографии, чем заняты его станки и

брошюровочно-фальцовочный цех в течение двух недель. Именно столько времени, по словам де Риддера, потребовалось на изготовление тиража пастернаковского романа.

Во время одной из таких поездок в кабинете де Риддера раздался звонок. Звонил его приятель, журналист-ищейка одной из голландских газет Лефелай. Секретарша де Риддера ничтоже сумняшеся ответила, что шеф отправился в типографию по поводу печатания «Доктора Живаго». Слаще меда были для Лефелайя эти слова — ведь это же сенсация! Знаменитая книга печатается здесь, рядом! Наутро о предстоящем событии читала в лефелайевской газете вся Голландия.

Дальнейшие события описаны нами в «Отмытом романе».

Теперь, полвека спустя, Питер де Риддер отрицает какую-либо роль какой-либо разведки в этой истории. Ему об этом ничего не было известно. Да, его пригласили и предложили выпустить книгу. И он с удовольствием взялся за выполнение заказа, потому что считал роман Пастернака выдающимся произведением, которое непременно надо выпустить.

Почему же идея не была согласована ни с Пастернаком, ни с главным редактором, ни с куратором, ни с самим Фельтринелли?

«Я старался, — рассказывает де Риддер, — написать ему (Фельтринелли — *Ив. Т.*) в течение этих 3—4 дней, когда принималось решение, но застать его не мог; звонил ему, но мне отвечали, что господина Фельтринелли нет на месте».

На книге нет значка копирайта?

«Я хотел подчеркнуть, что это необычная публикация. И подчеркнуть, что владельцем книг был Фельтринелли. Мне было известно, что копирайт был открытым. В действительности, он принадлежал Москве, Международной книге».

Эти слова Питера де Риддера выдают его позицию с головой. Для того, чтобы знать, что копирайт — открытый, надо быть инсайдером, так как никто посторонний не был посвящен в содержание контракта между Пастернаком и Фельтринелли, а миланский издатель поклялся писателю, что никогда и ни в каком суде на свете он не предъявит текст этого договора.

Правда, копию договора видела у Пастернака в Переделкино Жаклин де Пруайяр, которая и могла (да еще — Клеманс Эллер) пересказать его содержание в присутствии де Риддера в Париже 12 декабря 1957 года. И поскольку Фельтринелли действительно не имел прямого пастернаковского разрешения на выпуск русского текста, де Риддер действовал, как истинный авантюрист.

Но мало того. Слова о правах, якобы принадлежащих Москве, да не просто Москве, а «Международной книге» — этой постоянной крыши КГБ, — показывают, что де Риддер заходил слишком далеко. Не исключено, что по прошествии полувека он просто забыл, что эти слова предают его, ибо «Международной книге» никакие права не принадлежали, а настаивать на обратном могли только советские агенты. Честному ли издателю европейской страны этого не знать!

Но даже если у де Риддера и могли быть подобные взгляды, как понять тогда его действия? Ведь «Международная книга» делала все, чтобы русский текст никогда не

увидел света. Большой свиньи, чем это сделал «Мутон», Кремлю подложить было нельзя.

Но и это не последняя странность.

Как вспомнил де Риддер в нашей беседе 2008 года, после публикации заметки Лефелая издательский отдел «Мутона» получил около 1240 срочных заказов на русское издание — от лондонского магазина Blackwell, от парижского «Дома Книги» и от других европейских продавцов, торговавших с русской клиентурой. Пришлось эти 1240 отпечатать дополнительно и направить почтой по присланным адресам.

Стояло ли на и на них имя Фельтринелли? — спросил я у де Риддера. Не помню, — ответил он. — Вероятно.

А кому пошли деньги от продажи этих дополнительных экземпляров романа? — Я передал их Фельтринелли.

Но, в конце концов, разве Вы не боялись скандала, который из всего этого может получиться? — У меня было ощущение, что дело может плохо кончиться, но Экхаут прикрывал меня, ну, и потом у нас были адвокаты. Я рассчитывал на помощь Экхаута.

Но именно он Вас и обвинил, когда книга вышла и разразился международный скандал. Экхаут всячески отрицал свою вовлеченность во все это. — Его позднейшие извинения перед публикой и гнев в мой адрес я всерьез не воспринимал. Ну, отрицал, ну, и ради Бога.

То есть, Вы хотите сказать, что его интервью осенью 1958 года были лицемерными? — По крайней мере, окрашенными в определенном направлении.

В том же 2008 году я спросил историка контрразведки BVD Криса Воса, почему для всей этой секретной операции по

выпуску пастернаковского романа ЦРУ избрало именно Голландию? Вот его ответ.

У ЦРУ и BVD были очень теплые и сердечные связи. ЦРУ считало BVD надежным партнером, у которого не было предателей или спящих агентов, вроде Кима Филби. На протяжении многих лет ЦРУ даже оплачивало часть бюджета BVD. Прежде всего, это относилось к таким сложным, дорогостоящим и специфическим оперативным задачам, как прослушивание русского посольства и других русских учреждений: микрофоны, телефонные жучки, перевод и распечатка разговоров — все это оплачивалось деньгами ЦРУ. Так что для ЦРУ BVD было гораздо более надежным партнером, нежели MI5, французы или немцы. Хотя поначалу BVD было в большем контакте с MI5 и MI6 и проходило обучение у британцев.

У Голландии и без американцев была стойкая антикоммунистическая позиция и политика, основанная на взглядах самого населения. Опросы общественного мнения после 1948 года, когда произошел коммунистический переворот в Чехословакии, показывают, что Сталина многие голландцы открыто сравнивали с Гитлером. Так что у BVD с голландским народом был значительный консенсус. И хотя некоторые операции BVD были откровенно незаконными и выходили за рамки того, что разрешалось контрразведке по уставу и статусу (например, BVD основывали и поддерживали в Голландии коммунистические общественные организации — для сбора информации и выявления сочувствующих), атмосфера в стране по отношению к контрразведке была самой благоприятной. Так что не только корни некоторых спецопераций уходили в глубь ЦРУ, но и на прохождение специальных тренировок голландские агенты ездили в Соединенные Штаты.

Беседа с Крисом Восом, Йооп ван дер Вилден вспоминал, как его шеф Гербрандс поделился с ним, что

пастернаковский роман предполагается наградить Нобелевской премией, а без русского издания сделать это невозможно. Вот зачем задумана вся эта операция, и не будь у ЦРУ уверенности в успехе, никто не стал бы тратить на эту книгу таких больших денег. И Йооп ван дер Вилден сказал Крису Восу, что из этих слов он сделал определенный вывод: у ЦРУ и Нобелевского комитета есть связь. То же самое ему подтвердил тот американец, которому был привезен в Вассенаар грузовичок с тиражом «Живаго».

Сам ван дер Вилден, рассказал нам Крис Вос, был во время Второй мировой войны участником голландского сопротивления и, как многие его коллеги, подался после войны в BVD. Вилден проводил секретные операции в Восточном Берлине. В частности, через одного знаменитого западного актера, снимавшегося в ГДРовских фильмах, он передавал деньги для нужных людей по ту сторону Берлинской стены. Актер возил их в своей дорогой спортивной машине. И ко времени «Доктора Живаго» ван дер Вилден уже хорошо себя зарекомендовал как ЦРУ-шный партнер.

Есть еще одна деталь, связанная с Питером де Риддером. То, что мы знаем о его центральной роли в выпуске пастернаковского романа, позволяет сделать предположение, что такого человека, совершившего такой ужасный для репутации СССР поступок, вероятно, никогда не пускали с тех пор в Советский Союз. Да он, скорее всего, и не просил туда визу.

Жизнь интереснее любых теорий. Питер де Риддер спокойно прибыл в Москву к 1 сентября 1958 года — участвовать в работе Всемирного конгресса славистов. Конгресс длился до 10 сентября, и на нем успели появиться ученые, побывавшие 7 сентября в Брюсселе. Некоторые из них даже привезли с собой мутоновское издание

«Доктора Живаго». Де Риддер вспоминает о 4—5 таких экземплярах, которые в Москве видел он сам.

В один из дней большая компания собралась навесить Бориса Пастернака в Переделкине, и де Риддер хотел присоединиться, но подошедший к нему молодой лингвист Вячеслав Всеволодович Иванов попросил его не ездить. Почему? Иванов обещал «потом объяснить», но никогда этого не сделал.

То, что Питер де Риддер — издатель «Доктора Живаго», знали все.

Ну, хорошо, в сентябре 1958 года КГБ прошляпило «врага», но уж с тех пор ему больше ходу в страну ведь не было?

Де Риддер съездил в Советский Союз еще шесть раз — в 1960—70-е годы. И проблем с визами не знал. А однажды он возвращался из Москвы в Голландию вместе с голландским славистом. Оба проходили таможеню. Слависта обыскали с ног до головы, до последней нитки, хотя у него ничего не оказалось. Из-за него самолет был едва не задержан. Питера же де Риддера даже не попросили открыть чемодан, хотя там находилось несколько рукописей, которые он нелегально вывозил из страны. В те годы ни один текст ни один советский автор не имел право отправить на Запад без официального разрешения властей. И хотя в чемодане де Риддера находился всего лишь манускрипт «Травматической афазии» известного московского психолога Александра Лурии, не представлявший никакой угрозы коммунизму, нельзя было вывозить и его.

Питер де Риддер проверки не проходил.

Если кто-то верит в повторяющиеся чудеса такого рода, пусть верит. Историческая афазия не заказана никому.

Human Rights Publishers
www.hrpublishers.org

Книга продолжает и развивает тему, впервые во весь рост поднятую в исследовании Ивана Толстого «Отмытый роман Пастернака: „Доктор Живаго“ между КГБ и ЦРУ» – об обстоятельствах секретной подготовки и пиратского выхода закатной книги писателя.

После открытия архивов Нобелевского комитета (2009 г.) стало известно, кто и как выдвигал и поддерживал кандидатуру Б. Пастернака на протяжении многих лет, почему и благодаря кому писатель стал лауреатом высшей литературной премии.

Автор полемизирует с исследованиями, опубликованными после выхода «Отмытого романа...», и приводит новые факты и документы, углубляющие понимание культурных процессов в годы холодной войны.

Того же автора:

Курсив эпохи: Литературные заметки (1993 г.).

Полвека в эфире: Послевоенная история устами Радио Свобода (CD-ROM, 2003 г.).

Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ (2009 г.).